Белогвардейский роман



Купол Св. Исаакия Далматского

А. Куприн · Л. Зуров

Купол Св. Исаакия Далматского
Александр Иванович Куприн

Аннотация
Александр Куприн. •. Купол Св. Исаакия Далматского
I. Добрая осень
II. Красная армия
III. Смерть и радость
IV. Яша
V. Тяжелая артиллерия
VI. «Дома ль маменька твоя»
VII. Шведы
VIII. Широкие души
IX. Разведчик Суворов
X. Хромой черт
XI. Обрывки
XII. Газета
XIII. Красные уши
XIV. Немножко истории
XV. Партизанский дух
XVI. Лунатики
XVII. Купол Св. Исаакия Далматского
XVIII. Отступление

Аннотация

Издательство «Вече» представляет новую серию художественной прозы «Белогвардейский роман», объединившую произведения авторов, которые в подавляющем большинстве принимали участие в Гражданской войне 1917–1922 гг. на стороне Белого движения.

В данную книгу включена повесть «Купол Св. Исаакия Далматского» Александра Ивановича Куприна, снискавшего себе натурную славу еще задолго до 1917 года. Повесть явилась пением «гатчинского» периода жизни и творчества знаменитого писателя, в основе повести лежат автобиографические сюжеты, которые Александр Иванович черпал из богатой событиями жизни Северо-западной армии.

А. Куприн. Купол Св. Исаакия Далматского. Издательство «Вече». Москва. 2007.

Александр Куприн

•

Купол Св. Исаакия Далматского

I. Добрая осень

Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладко-грустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчины. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Баговутовская улица,[1] пролегающая через весь посад, даже четырьмя.

Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белоствольных берез благоухает, как крепкое старое драгоценное вино.

Урожай был обилен в этом году по всей России. (Чудесен он был и в 20-м году. Мне непостижимо, как это не хватило остатков хлеба на 21-й год — год ужасного голода.) Я собственноручно снял

---

[1] Примечания: 1
Баговутовская — ул. К. Маркса с 1922 г.

с моего огорода[2] 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной толстой упругой грачовской моркови и крупного белого ребристого чеснока — этого верного противоцинготного средства. Оставались неубранными лишь слабенькие запоздалые корешки моркови, которых я не трогал, дожидаясь пока они нальются и потолстеют.

Весь мой огород был размером в 250 квадратных сажен, но по совести могу сказать, потрудился я над ним весьма усердно, даже, пожалуй, сверх сил.

Зимой ходил с салазками и совочком — подбирал навоз. Мало толку было в этом жалком, сухом навозе — его даже воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, проходила мимо зловредная старушенция, остановилась,

---

[2] Примечания: 2

«Зеленый дом» А. И. Куприна, уничтоженный во время Великой Отечественной войны, находился на ул. Елизаветинской (ул. Достоевского с 1922 г.), наискосок через перекресток от усадьбы Клодницкого. В доме было пять комнат и просторная застекленная веранда. Выкрашен он был в зеленый цвет. При доме был небольшой сад и двор с каменными и деревянными службами.

На пятиэтажке № 19 по ул. Достоевского, расположенной на месте бывшего дома Куприна, в советское время установлена мемориальная доска.

поглядела и зашипела на меня: «Попили нашей кровушки. Будя». (Экий идиотский лозунг выбросила революция.) Собирал я очень тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими правдами и неправдами несколько горстей суперфосфата и сушеной бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толок их в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок голубиного помета (сами-то голуби давно покинули наш посад, вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя пропитания).

Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяйством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей.

Труднее всего было приготовить землю под гряды. Мне помог милый Фома Хамилейнен из Пижмы. Он мне вспахал и взборонил землю. Я за это подарил ему довольно новую фрачную пару (что мог сделать мой честный, добрый чухонец с этой дурацкой одеждой?) и собственноручно выкопал для него из грунта 12 шестилетних яблонь. Я их купил три года тому назад в питомнике Регеля Кесельринга. Сам посадил с любовью и ухаживал за ними с нежностью. Раньше, щадя их детский возраст, я им не давал цвести, обры-

вал цветения, но в этом году думал разрешить им первую роскошь и радость материнства, оставив по две-три яблочных завязи на каждой. Очень жалко было расставаться с яблоньками, но трезвый будничный картофель настоятельно требовал для себя широкого места.

И ведь, как на грех, на соблазн, выдалась такая теплая, такая чудесная осень! На оставшихся у меня по границе огорода шести яблоньках-десятилетках, поздних сортов, плоды никогда еще не дозревали: их мы срывали перед морозами, закутывали в бумагу и прятали в шкаф до Рождества.

Теперь же на всех шести налились и поспели такие полные, крепкие, нарядные, безупречные яблоки, что хоть прямо на выставку.

А цветов в этом году мне так и не довелось посадить. Побывал раннею весною в двадцати присутственных местах Гатчины и Петрограда на предмет получения разрешения на отпуск мне семян из социализированного магазина, потратил уйму денег, времени и нервов на проезды и хлопоты, ничего не смог добиться и с озлоблением плюнул.

Простите, что я так долго остановился на этом скучном предмете и отрываюсь от него с трудом. Мне совсем не жалко погибшей для меня без-

возвратно в России собственности: дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба. Без малейшего чувства сожаления следил я за тем, как исчезали в руках мешочников зеркала, меха, портьеры, одеяла, диваны, шкафы, часы и прочая рухлядь. Деньги тогда даже не стоили той скверной бумаги, на которой они печатались.

Но, по правде говоря, я бы очень хотел, чтобы в будущей, спокойной и здоровой России был воздвигнут скромный общественный монумент не кому иному, как «мешочнику». В пору пайковых жмыхов и пайковой клюквы это он, мешочник, провозил через громадные расстояния пищевые продукты, вися на вагонных площадках, оседлывая буфера или распластавшись на крыше теплушки; всегда под угрозой ограбления или расстрела. Конечно, не ему, а времени было суждено поправить хоть немного экономический кризис. Но кто же из великомучеников того времени не знает из горького опыта, как дорог и решителен для умирающей жизни был тогда месяц, неделя, день, порою даже час подтопки организма временной сытностью, отдыха. Я мог

бы назвать много драгоценных для нашей родины людей, чье нынешнее существование обязано тяжкой предприимчивой жадности мешочника. Памятник ему!

Повторяю, мне не жаль собственности. Но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника «Виктория» и парниковые дыни-канталупы «Женни Линд» — вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь.

Здесь была прелесть чистого, простого чудесного творчества. Какая радость устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный, темно-красный душистый дар земли отослать в подарок соседу! Какая невинная радость — точно материнская.

Так, впрочем, бывало раньше. К середине 19-го года мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие, в усталую сонливость. Умирали не от голода, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился в уголке утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кондукторша,

а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах.

Как я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень — картофель. Бывало, нароешь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком вздувается огромная гуля: нервы никуда не годятся.

Пропало удовольствие еды. Стало все равно, что есть: лишь бы не царапало язык и не втыкалось занозами в нёбо и десны. Всеобщее ослабление организмов дошло до того, что люди непроизвольно переставали владеть своими физическими отправлениями. Всякая сопротивляемость, гордость, смех и улыбка — совсем исчезли. В 18-м году еще держались малые ячейки, спаянные дружбой, доверием, взаимной поддержкой и заботой, но теперь и они распадались.

Днем гатчинские улицы бывали совершенно пусты: точно всеобщий мор пронесся по городу. А ночи были страшны. Лежишь без сна. Тишина и темнота, как в могиле. И вдруг одиночный выстрел. Кто стрелял? Не солдат ли, соскучившись на посту, поставил прицел и пальнул в далекое

еле освещенное окошко? Или раздадутся подряд пять отдаленных глухих залпов, а затем минутка молчания и снова пять уже одиночных, слабых выстрелов. Кого расстреляли?

Так отходили мы в предсмертную летаргию. Победоносное наступление С[еверо]-З[ападной] Армии было подобно для нас разряду электрической машины. Оно гальванизировало человеческие полутрупы в Петербурге, во всех его пригородах и дачных поселках. Пробудившиеся сердца загорелись сладкими надеждами и радостными упованиями. Тела окрепли, и души вновь обрели энергию и упругость. Я до сих пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того времени. Все они, все без исключения, говорят о том восторге, с которым они ждали наступления белых на столицу. Не было дома, где бы не молились за освободителей и где бы не держали в запасе кирпичи, кипяток и керосин на головы поработителям. А если говорят противное, то говорят сознательную, святую партийную ложь.

II. Красная армия

Мы все были до смешного не осведомлены о внешних событиях; не только мы, уединенные гатчинцы, но и жители Петербурга. В советских газетах нельзя было выудить ни словечка правды. Ничего мы не знали ни об Алексееве, ни о Корнилове, ни об операциях Деникина, ни о Колчаке. Помню, кто-то принес весть о взятии Харькова и Курска, но этому не поверили. Слышали порою с севера далекую орудийную пальбу. Нас уверяли, что это флот занимается учебной стрельбой. В мае канонада раздавалась с северо-запада и стала гораздо явственнее. Но тогда некого было спрашивать, да и было лень. Только полгода спустя, в октябре, я узнал, что это шло первое (неудачное) наступление С.-З. Армии на Красную Горку. Впрочем, в том же мае мне рассказывал один чухонец из Волосова следующее: к ним в деревню приехали однажды верховые люди в военной форме, с офицерскими погонами. Попросили дать молока, перед едой перекрестились на красный угол, а когда закусили, то отблагодарили хозяев белым хлебом, ломтем сала и очень щедро — деньгами.

А садясь на коней, сказали: «Ждите нас опять. Когда приедем, то сшибем большевиков, и жизнь будет, как прежде».

Я, помню, спросил недоверчиво:

— Почем знать, может быть, это были большевицкие шпионы? Они теперь повсюду нюхают.

— Не снай. Може пионы, може, равда белые, — сказал чухонец.

Жить было страшно и скучно, но страх и скука были тупые, коровьи. На заборах висели правительственные плакаты, извещавшие: «Ввиду того, что в тылу Р.С.Ф.С.Р. имеются сторонники капитализма, наемники Антанты и другая белогвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, — вменяется в обязанность всякому коммунисту: усмотрев где-либо попытку опозорения советской власти и призыв к возмущению против нее, — расправляться с виновными немедленно на месте, не обращаясь к суду». Случаи такой расправы бывали, но, надо сказать правду, — редко. Но томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Мысленно смерти никто не боялся. Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и порешительнее затаить дыхание, и готов. Пугали больше всего мучения в подвале, в ежеминутном ожидании казни.

Поэтому старались мы сидеть в своих норах тихо, как мыши, чующие близость голодного кота. Высовывали на минуту носы, понюхать воздух, и опять прятались.

Но уже в конце ноября началось в Красной Армии и среди красного начальства какое-то беспокойное шевеление.

Приехал неожиданно эшелон полка, набранного в Вятке, и остановился за чертой посада в деревянных бараках. Все они были, как на подбор, такие же долговязые и плотные, такие же веселые и светло-рыжие, с белыми ресницами, как Шаляпин. Ладные сытые молодцы. Не знаю, по какой причине, им разрешили взять с собою по два или по три пуда муки, которую они в Гатчине охотно меняли на вещи. Мы пошли в их становище. Там было уже много народу. Меня тронуло, с каким участием расспрашивали они исхудавших, обносившихся, сморщенных жителей. Как сочувственно покачивали они головами, выразительно посвистывали на мотив: «Вот так фу-унт!» — и, сплюнув, говорили:

— Ах вы бедные, бедные. До чего вас довели. Нешто так можно?

Потом их куда-то увезли. Но эти «вятские, ребята хватские» не пропали. Во второй половине

октября они почти все вернулись в Гатчину, в рядах Белой Армии, в которую они перешли дружно, всем составом, где-то под Псковом. И дрались они лихо.

Вскоре после их отхода Гатчина вдруг переполнилась нагнанной откуда-то толпой отрепанных до последней степени, жалких, изможденных, бледных красноармейских солдат. По-видимому, у них не было никакого начальства, и о дисциплине они никогда не слыхали. Они тотчас же расползлись по городу, в тщетных поисках какой-нибудь пищи. Они просили милостыни, подбирали на огородах оставшуюся склизкую капустную хряпу и случайно забытые картофелины, продавали шейные кресты и нижние рубахи, заглядывали в давно опустелые помойные ямы. Были все они крайне удручены, запуганы и точно больны: вероятно, таким их душевным состоянием объяснялось то, что они не прибегали тогда к грабежу и насилию.

Недолго прожили они в Гатчине. Дня три. В одно ясное, прохладное утро кто-то собрал их в бесформенную группу, очень слабо напоминавшую своим видом походную колонну, и погнал дальше по Варшавскому шоссе.

Я видел это позорное зрелище, и мне хотелось

плакать от злобы, жалости и бессилия: ведь как-никак, а все-таки это была русская армия. Ведь «всякий воин должен понимать свой маневр», а эти русские разнесчастные обманутые Иваны — понимали ли они хоть слабо, во имя чего их гнали на бойню?

Не оркестр шел впереди, не всадник красовался на серой лошади, и не знамя в футляре покачивало золотым острием высоко над рядами. Впереди тащилась походная кухня, разогретая на полный ход. Густой дым валил из ее трубы прямо назад и стлался низко над вооруженной ватагой, дразня ее запахом вареной капусты. О, зловещий символ!

И что это была за фантастическая, ужасная, кошмарная толпа! Согбенные старики и желтолицые чахоточные мальчуганы, хромые, в болячках, горбатые, безносые, не мывшиеся годами, в грязных тряпках, в ватных кофтах и жалких кацавейках, одна нога босиком, другая в галоше, всюду дыры и прорехи, ружья вверх и вниз штыками и иные волочатся штыками по земле. Уж не в Вяземской ли лавре собралось это войско, которое проходило мимо нас с поднятыми носами и жадно раздувавшимися ноздрями?

На другой день мы снова услышали канонаду,

на этот раз яснее, ближе и в новом направлении. Очевидно, теперь морская эскадра для своей учебной стрельбы переместилась на юго-запад от Гатчины. Но как будто в этом направлении нет моря?

К полудню этого же дня странная суматоха, какая-то загадочная беготня, тревожная возня началась во всегда пустых, безлюдных улицах Гатчины. Невиданные доселе, совсем незнакомые люди таскали взад и вперед сундуки, узлы, корзинки, чемоданы. Наехали в город окрестные мужики на пустых телегах. Бежали опрометью по мостовой какие-то испуганные рабы с вязанками соломы и с веревочными бунтами на плечах. Очевидно, кто-то переезжал или уезжал. Мне было неинтересно кто.

Но вечером мне понадобилось выйти из дома. На Соборной улице я встретился с одним чудаком. Он всегда рекомендовался густым басом, оттопыривая вбок локоть для рукопожатия и напруживая по-бычьи шею: учитель народной средней школы. Фамилии его я не знал. Он был, в сущности, неплохой малый, хотя и пил вежеталь, большими флаконами, каждый в одно дыхание.

Он подошел ко мне.

— Знаете, что случилось? Все советские выез-

жают нынче ночью спешно в Петроград.

— Почему?

— Кто их знает? Паника. Пойдемте посмотрим.

На проспекте Павла I, на Михайловской[3] и Бомбардирской[4] улицах густо стояли груженые возы. Чего на них не было: кровати, перины, диваны, кресла, комоды, клетка с попугаем, граммофоны, цветочные горшки, детские коляски. А из домов выносили все новые и новые предметы домашнего обихода.

— Бегут! — сказал учитель. — Кстати, нет ли у вас одеколонцу Ралле, вспрыснуть счастливый отъезд?

— К сожалению, нету. Но как вы думаете, сколько же в Гатчине проживало большевиков? Смотрите — целый скифский обоз.

Учитель подумал.

— По моему статистическому расчету, включая челядь, жен, наложниц и детей, а также местных добровольцев и осведомителей — не менее четырехсот.

Колеса сцеплялись, слышалось щелканье кнута, женские крики, лай собак, ругань, детский

---

[3] Примечания: 3
Михайловская — ул. Красная с 1922 г.

[4] Примечания: 4
Бомбардирская — ул. М. Горького с 1922 г.

плач. Пахло сеном, дегтем и лошадиной мочой. Темнело. Я ушел.

Но еще долго ночью, лежа в постели, я слышал, как по избитому шоссе тарахтели далекие телеги.

III. Смерть и радость

На другой день, в прекрасное золотое с лазурью, холодное и ароматное утро, Гатчина проснулась тревожная, боязливая и любопытная. Пошли из дома в дом слухи… Говорили, что вчера была в ударном порядке сплавлена в Петербург только лишняя мелочь. Ответственные остались на местах. Совдеп и ЧК защищены пулеметами, а вход в них для публики закрыт. Однако советские автомобили всегда держатся наготове.

Говорили, что из Петербурга пришел приказ: в случае окончательного отступления из Гатчины взорвать в ней бомбами дворец, собор, оба вокзала и все казенные здания.

Уверяли, что в Гатчину спешит из Петербурга красная тяжелая артиллерия (и эта весть оказалась верной). Но болтали и много глупостей… Выдумали шведов и англичан, уже разрушивших Кронштадт и теперь делающих высадку на Петербургской стороне. И так далее.

Пушечные выстрелы доносились теперь с юга, откуда-то из Преображенской или даже с Сиверской. Они стали так ясны, четки и выпуклы,

что казалось, будто стреляют в десяти, в пяти верстах.

За последние четыре года я как-то случайно сошелся, а потом и подружился с одним из постоянных гатчинских отшельников. Это был когда-то властный и суровый редактор очень влиятельного большого журнала. Теперь он проживал стариком на покое в гатчинской тишине и зелени; заметно присмирел и потеплел, да, в сущности, и в свою боевую пору он только носил постоянную маску строгости, а на самом деле был добрейшим человеком, только этого журнальные люди не умели раскусить. Он мне давал читать свои переводы древних писателей и особенно пленил меня Лукианом, Эпиктетом и Марком Аврелием. Он не скучал со мной, а для меня беседы с ним были всегда занимательны и поучительны. Что же? Почему так стыдно человеку признаться в том, что он всегда, даже до глубокой старости, рад пополнять недостаток знания?

Я узнал также, что С., весьма скупой на комплименты и душевные излияния, относился ко мне с большим доверием — узнал, однако, по очень печальному и тяжелому поводу и, конечно, не от него.

Два его сына — Николай и Никита — оба ушли

на Великую войну. Первый, как кадровый офицер в самом начале войны, второй — охотником в конце 1916 года. Оба погибли: один от тяжелого ранения, другой от тифа, через малый промежуток времени.

В одном из первых месяцев 1917 года я получил письмо от человека, которого я не знал лично. Он был товарищем Никиты дважды: по гатчинскому реальному училищу и потом по артиллерийскому дивизиону. Меня-то он, конечно, знал. В маленьком провинциальном посаде я весь был на юру, вместе с моими собаками, лошадью, медведем, обезьяной, участием во многих вечерах и концертах и кое-какими приключениями.

Он писал мне о смерти обоих братьев. О том, что лично он не решается известить об этих ужасных событиях престарелого отца, потому что сам видал его пламенную, трепетную, безумную любовь к сыновьям. В конце концов, он трогательно просил меня взять это очень сложное дело на мое разрешение, совесть и умение. Старик отец, по его словам, не раз писал Никите обо мне в тоне добром и доверчивом. Я решил промолчать. И в самом деле, что было бы лучше: убить милого, обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии

и неведении?

И я молчал почти два года.

Это было нелегко. С. иногда глядел на меня такими проницательными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать.

Особенно тяжело было скрывать эту тайну в те последние дни, о которых я сейчас пишу.

Каждый день перед полуднем старик заходил за мною. Мы шли на железнодорожный Варшавский путь и долго простаивали там, прислушиваясь к пушечной все крепнувшей пальбе, глядя туда, на юг, вслед убегающим, суживающимся, блестящим рельсам. Порою он говорил мечтательно:

— Дорогой друг мой. Завтра, послезавтра придут англичане (оказывается, и он верил в англичан) — и принесут нам свободу. А с ними придут мои Коля и Никитушка. Загорелые, басистые, в поношенных боевых мундирах, с сияющими глазами. Они принесут нам белого вкусного хлеба. И английского сала, и шоколаду. И немного виски для вас. Я буду так рад представить вам молодых героев.

И опять мы всматривались в убегающую даль, точно принюхиваясь за десятки верст к запаху

порохового дыма.

Не дождался бедный, славный С. — ни своих милых сыновей, ни даже прихода Северо-Западной Армии. Он умер за два дня до взятия Гатчины. А письмо Никитиного товарища так и осталось лежать у меня в американском шкафчике. Тот, кто живет теперь в моем доме, если и нашел его, то, наверное, бросил в печку. А если и отнес его на рассмотрение тому, кому это надлежит, — я спокоен. Никого в живых из семьи С. (мир его праху) не осталось.

И еще одна смерть.

Рядом с нами, еще в дореволюционное время, город построил хороший двухэтажный дом для призрения старух. Большевики, завладев властью, старушек выкинули, в один счет, на улицу, а дом напихали малолетними пролетарскими детьми. Заведовать же их бытием назначили необыкновенную девицу. Она была уже немолода, со следами бывшей роковой красоты, иссохшая в дьявольском огне неудовлетворенных страстей и неудач, с кирпично-красными пятнами на скулах и черными глазами, всегда горевшими пламенем лютой злобы, зависти и властолюбия. Я не мог выдерживать ее пристального ненавистнического взгляда.

Как она смотрела за детьми, видно из того, что однажды вся ее детвора объелась какой-то ядовитой гадостью. Большинство захворало, одиннадцать детей умерло. Трупы было приказано доставить ночью в мертвецкую при госпитале, залить известью и вынести за город. Об этом рассказывал Федор, служивший раньше у меня дворником, философ, пьяница, безбожник, кривой на один глаз и мастер на все руки. Особенно влекло его к профессиям отчаянным. Он работал на собачьей свалке, ловя и убивая бродячих собак, служил в ассенизационном обозе, а потом поступил сторожем в мертвецкую; в промежутках же брался за всякую работу. Он-то и рассказывал мне о том, как приходили к нему ночью матери отравленных детишек и как он, Федор, выдавал опознавшим трупы этих детей, беря по сто рублей за голову. Цена небольшая, но денатурат был сравнительно не дорог.

Как-то раз к нам во двор забежала девочка из этого приюта, лет двенадцати, но вовсе карлица, в старушечьем белом платочке и с лицом печальной, больной старушки. Она рылась в помойке.

Нам удалось побороть ее одичалость, кое-как помыть ей руки и рожицу и покормить тем, что было дома. Звали ее Зина. У нас она немножко

облюднела. Пришла еще раз и еще, а потом даже привела с собою шершавого веснушчатого мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок.

Но однажды едва она вошла в калитку, как за нею следом бешеной фурией ворвалась надзирательница. Ее страшные глаза «метали молнии». Она схватила девочку-старушку за руку и поволокла ее с той деспотической небрежностью, с какой злые дети таскают своих несчастных изуродованных кукол. И она при этом кричала на нас в таком яростном темпе, что мы не могли бы, если бы даже и хотели, вставить ни одного слова:

— Буржуи! Кровопийцы! Сволочь! Заманивают малолетних с гнусными целями! Когда вас перестреляют, паршивых сукиных детей!

И все в том же мажорном тоне.

Потом прошло с полмесяца. Как-то утром я стоял у забора. Вижу, надзирательница толкает по мостовой большую тачку, а на ней небольшой гробик, наскоро сколоченный из шелевок. Я понял, что тащила она детский трупик на кладбище, чтобы свалить в общую яму, без молитвы и церковного напутствия.

Но как раз перед моими воротами колесо тачки неудобно наскочило на камень.

От толчка живые швы гроба разошлись и из

него выглянуло наружу белое платьице и тоненькая желтая ручка. Надзирательница беспомощно оглядывалась по сторонам.

Я крикнул ей:

— Погодите, сейчас помогу.

Захватил в доме гвоздей, молоток и кое-как, неумело, криво, но прочно, заколотил гроб. Вбивая последний гвоздь, спросил:

— Это не Зина?

Она ответила, точно злая сучка брехнула:

— Нет, другая стерва. Та давно подохла.

— А эту как звать?

— А черт ее знает!

И влегла в тачку всем своим испепеленным телом.

Я только подумал про себя: «Успокой, Господи, душу неизвестного младенца. Имя его Ты Сам знаешь».

Другой женщине я бы непременно помог довезти гроб, хотя бы до шоссе…

Много еще было невеселого. Ведь каждый день нес с собою гадости. Но теперь во мне произошел какой-то легкий и бодрый поворот.

Пушки бухали все ближе, а с их приближением сникла с души вялая расслабляющая тоска, бессильное негодование, вечный зелено-желтый

противный рабий страх. Точно вот кто-то сказал мне:

«Довольно. Все эти три года были дурным сном, жестоким испытанием, фантазией сумасшедшего. Возвращайся же к настоящей жизни. Она так же прекрасна, как и раньше, когда ты распевал ей благодарную хвалу».

Сидел я часто на чердаке, на корточках, счищал сухую грязь с картофелин и размышлял: если учесть налипшую землю да еще то, что клубни подсохнут, то 36-ти пудов не выйдет. А все-таки по три фунта в день наберется, по фунту на персону. Это громадный запас. Только уговор умеренно делать широкие жесты.

И в то же время я пел диким радостным голосом чью-то нелепую песенку на собственный идиотский напев

Тра-ля-ля, как радостно,
На свете жить так сладостно;
И солнышко блестит живей,
Живей и веселей…

IV. Яша

Когда вошел славный Талабский полк в Гатчину — я точно не помню; знаю только, что в ночь на 15, 16 или 17 октября. Я еще подумал тогда, что дни второй половины октября часто были роковыми для России.

Накануне этого дня пушечные выстрелы с юга замолкли.

Город был в напряженном, тревожном, но бодром настроении. Все ждали чего-то необычайного и бросили всякие занятия.

Перед вечером — еще не смеркалось — я наклал в большую корзину корнеплодов, спустив их пышную ботву снаружи: вышел внушительный букет, который предназначался в презент моему старому приятелю-еврею за то, что тот изредка покупал мне в Петербурге спирт.

Да, надо сознаться, все мы пили в ту пору контрабандой, хотя запретное винокурение и грозило страшными карами, до расстрела включительно. Да и кто бы решился укорить нас?

Великий поэт и мудрец Соломон недаром приводит в своих притчах наставление царю

Лемуилу, преподанное ему его матерью:

«Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру».

«Дайте сикеру погибающему и вино — огорченному душою».

«Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании».

Когда я пришел к нему на Николаевскую,[5] все домашние сидели за чайным столом. Хозяина уже третий день не было дома, он завертелся по делам в Питере. Но его стул на привычном патриаршем месте, по старинному обычаю, оставался во все время его отсутствия незанятым: на него никому не позволяли садиться. (Впрочем, и в крепких старинных русских семьях кое-где хранится этот хороший завет.)

Был там какой-то дальний родственник, приехавший две недели назад из глухой провинции — седой, худой, панический человек. Он все хватался за голову, утомляя всех своими жалобами и страхами, ныл, как зубная боль, распространяя вокруг себя кислоту и уныние.

Был еще немного знакомый мне мальчик, Яша Файнштейн. Он носил мне тетрадки своих

---

[5] Примечания: 5
Николаевская — ул. Урицкого с 1922 г.

стихов на просмотр и оценку. Муза его была жалка, совсем безграмотна, беспомощна, ровно ничего не обещала в будущем, питалась гражданскими мотивами. Но в самом мальчике была внутренняя деликатность и какая-то сердечная порывистость.

Он блуждал по комнате, низко склонив голову и глубоко засунув руки в брючные карманы. Разговор, по-видимому, иссяк еще до меня и теперь не клеился.

Через полчаса притащился очень усталый хозяин… Увидев мою свадебную корзину, он слегка улыбнулся, кивнул мне головою и сказал:

— Только двести (он говорил о количестве граммов). Вам следует сдачи.

Потом он стал говорить о Петербурге.

Там беспокойно и жутко. По улицам ходят усиленные патрули красноармейцев, носятся сломя головы советские автомобили.

Обыски и аресты увеличились вдвое. Говорят шепотом о близости белых частей…

Поезд, на котором он возвращался домой, доехал только до Ижоры. Станционное начальство велело всем пассажирам очистить его. Из Петербурга пришла телеграмма о совершенном прекращении железнодорожного движения и о

возвращении этого поезда назад — в Петербург.

Пассажиры пошли в Гатчину пешком, узкими малоизвестными дорогами. С ними шел мой добрый партнер в преферанс и тезка — А. И. Лопатин, но, по своему всегдашнему духу противоречия, шел, не держась кучки, какими-то своими тропинками. Вдруг идущие услыхали его отчаянный пронзительный вопль, на довольно далеком расстоянии. Потом в другой раз, в третий. Кое-кто побежал на голос. Но Лопатина не могли сыскать. Да и невозможно было. Путь преграждала густая вонючая трясина. Очевидно, бедный Лопатин попал в нее и его засосало.

Что-то еще незначительное вспоминал хозяин из новых столичных впечатлений, и вдруг… молчавший доселе Яша взвился на дыбы, точно его ткнули шилом.

— Стыдно! Позор! Позор! — закричал он визгливо и взмахнул вверх руками, точно собирался лететь. — Вы! Еврей! Вы радуетесь приходу белых! Разве вам изменила память? Разве вы забыли погромы, забыли ваших замученных отцов и братьев, ваших изнасилованных сестер, жен и дочерей, поруганные могилы предков?

И пошел, и пошел кричать, потрясая кулаками. В нем было что-то эпилептическое.

С трудом его удалось успокоить. Это с особенным тактом сделала толстая, сердечная, добродушная хозяйка.

Вышли мы вместе с Яшей. Он провожал меня. На полпути он завел опять коммунистический валик. Я не возражал.

— Все вы скучаете по царю, по кнуту, по рабству. И даже вы, свободный писатель. Нет, если придет белая сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда опричников и золотопогонников словами Иеремии. Я не раб, я честный коммунист, я горжусь этим званием.

— Убьют, Яша.

— Пустяки. В наши великие дни только негодяи боятся смерти.

— Вспомните о своих братьях евреях. Вы накличете на них грозу.

— Плевать. Нет ни еврейского, ни русского народа. Вредный вздор народ. Есть человечество, есть мировое братство, объединенное прекрасным коммунистическим равноправием. И больше ничего! Я пойду на базар, заберусь на крышу, на самый высокий воз и с него я скажу потрясающие гневные слова!

— До свидания, Яша. Мне налево, — сказал я.

— До свидания, — ответил он мягко. Простите,

что я так разволновался.

Мы расстались. Больше я его никогда не видел. Судьба подслушала его.

Я спал мало в эту ночь, но увидел прекрасный незабвенный сон.

На газетном листе я летал над Ялтой. Я управлял им совсем так, как управляют аэропланом. Я подлетал к вершине Ай-Петри. Подо мной лежал Крым, как выпуклая географическая карта. Но, огибая Ай-Петри, я коснулся об утес краем моего аппарата и ринулся вместе с ним вниз.

Проснулся. Сердце стучало, за окном серо синел рассвет.

V. Тяжелая артиллерия

Встал я, по обыкновению, часов около семи, на рассвете, обещавшем погожий солнечный день, и, пока домашние спали, потихоньку налаживал самовар.

Этому мирному искусству — не в похвалу будь мне сказано — я обучился всего год назад, однако скоро постиг, что в нем есть своя тихая, уютная прелесть.

И вот только что разгорелась у меня в самоваре лучина и я уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул круглый, плотный пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах и загрохотала по полу уроненная мною труба. Это было посерьезнее недавней, отдаленной канонады.

Я снова наладил трубу, но едва лишь занялись и покраснели угли, как грянул второй выстрел. Так и продолжалась пальба весь день до вечера, с промежутками минут от пяти до пятнадцати.

Конечно, после первого же выстрела весь дом проснулся. Но не было страха, ни тревоги, ни суеты. Стоял чудесный, ясный день, такой теплый,

что если бы не томный запах осыпающейся листвы, то можно было бы вообразить, что сейчас на дворе конец мая.

Ах, как передать это сладостное ощущение опьяняющей надежды, этот радостный молодой озноб, этот волнующий позыв к движению, эту глубину дыхания, это внутреннее нетерпение рук и ног.

Мы скоро узнали, что стреляет из Гатчины тяжелая артиллерия красных (слухи не соврали, ее все-таки привезли из Петербурга). Говорили, что установлены были орудия частью около обелиска, воздвигнутого Павлом I и названного им «коннетаблем», частью на прежнем авиационном поле. Они бухали без передышки. Но белые молчали.

Кажется, достаточно было поводов для домашней тревоги. Но — диковинная вещь уверенность или вера, или жажда веры! Это чувство идет не от уст к устам, не по линии, даже не по плоскости. Оно передается в трех измерениях, а почем знать, может быть, и в четырех. Мне никогда не забыть этих часов беспечного доверия в жизни и ощущения на себе спокойной благосклонности синего неба.

Или мы все уже так отчаянно загрязли в пога-

ном погребе, где нет света и ползают мокрицы, что обрадовались допьяна тоненькому золотому лучику, просочившемуся сквозь муравьиную скважину?

Я не знал, куда девать время, так нестерпимо медленно тянувшееся. Я придумал сам для себя, что очень теперь необходимо вырывать из грядок оставшуюся морковь. Это было весело. Корни разрослись и крепко сидели в сухой земле. Уцепишься пальцами за головку и тянешь: нет сил. А как бахнет близкий пушечный выстрел и звякнут стекла, то поневоле крякнешь и мигом вытащишь из гряды крупную толстую красную морковину. Точно под музыку.

Не сиделось десятилетней дочери. Она, зараженная невольно общим сжатым волнением и возбужденная красивыми звуками пушек, с упоением помогала мне, бегая с игрушечным ведром из огорода на чердак и обратно. Время от времени она попадала в руки матери, и та, поймав ее за платье, тащила в дом, где уже успела забаррикадировать окна тюфяками, коврами и подушками. Но девочка, при первой возможности, улизывала опять ко мне. И так они играли до самого вечера.

Куда била Красная Армия — я не мог сообразить: я не слышал ни полета снарядов, ни их

разрывов. Только на другой день мне сказали, что она обстреливала не Варшавскую, а Балтийскую дорогу. Вкось от меня.

Белые молчали, потому что не хотели обнаружить себя. Их разведка выяснила, что путь на Гатчину заслонен слабо. И надо еще сказать, что Северо-Западная Армия предпочитала опасные ночные операции дневным. Она выжидала сумерек.

И вот незаметно погустел воздух, потемнело небо. На западе протянулась узенькая семговая полоска зари.

Глаз перестал различать цвет моркови от цвета земли.

Усталые пушки замолкли.

Наступила грустная, тревожная тишина.

Мы сидели в столовой при свете стеаринового огарка — спать было еще рано — и рассматривали от нечего делать рисунки в словаре Брокгауза и Ефрона.

Дочка первая увидела в черном окне зарево пожара. Мы раздвинули занавески и угадали без ошибки, что горит здешний совдеп, большое, старое, прекрасное здание с колоннами, над которым много лет раньше развевался штандарт и где жили из года в год потомственно командиры

синих кирасир.[6]

Дом горел очень ярко. Огненно золотыми тающими хлопьями летали вокруг горящие бумажки.

Мы поняли, что комиссары и коммунисты и все красные покинули Гатчину.

Девочка расплакалась: не выдержали нервы, взбудораженные необычайным днем и никогда не виданным жутким зрелищем ночного пожара. Она все уверяла нас, что сгорит весь дом, и вся Гатчина, и мы с нею.

Насилу ее уложили спать, и долго еще она во сне горько всхлипывала, точно жаловалась невидимому для нас кому-то очень взрослому.

---

[6] Примечания: 6

Деревянный дом командира Кирасирского полка был построен в 1825 году в начале Большого проспекта напротив Адмиралтейских ворот по проекту неизвестного архитектора. Он сгорел в 1919 году.

VI. «Дома ль маменька твоя»

Я курил махорку и перелистывал в Брокгаузе прекрасные политипажи: костюмы ушедших сто- и тысячелетий. Жена чинила домашнее тряпье. Мы оба — я знал — молча предчувствовали, что вот-вот в нашей жизни близится крупный перелом.

Души были ясны и покорны. Мы никогда в эти тяжелые годы и мертвые дни не пытались обогнать или пересилить судьбу.

Доходили до нас слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны. Хватило бы и денег. Но сам не понимаю, что: обостренная ли любовь и жалость к родине, наша ли общая ненависть к массовой толкотне и страх перед нею, или усталость, или темная вера в фатум — сделали нас послушными течению случайностей; мы решили не делать попыток к бегству.

Иногда, правда шутя, мы с маленькой путешествовали указательным пальцем по географической карте.

Евсевия еще помнила, смутно, бирюзовое побе-

режье Ниццы и — гораздо отчетливее — вкусные меренги из кондитерской Фозера в Гельсингфорсе. Я же рассказывал ей — о Дании по Андерсену, об Англии по Диккенсу, о Франции по Дюма-отцу.

В пылком воображении мы посетили все эти страны неоднократно. Судьбе было угодно показать нам их в яви, почти не требуя от нас никаких усилий для этого. Утверждаю, если человек бесцельно, беззлобно и беззаботно мечтает о невинных пустяках, то они непременно сбудутся, хотя бы и в очень уменьшенных размерах…

Кроме того, мы, голодные, босые, голые, сердечно жалели эмигрантов. «Безумцы, — думали мы, — на кой прах нужны вы в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры в своей родине? Куда вас, дурачков, занесли страх и мнительность?»

И никогда им не завидовали. Представляли их себе вроде гордых нищих, запоздало плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчем доме и грызущих пальцы.

Вдруг по низкой крыше нашего одноэтажного домика прокатился и запрыгал железный горох… Застрекотал вдали пулемет. Ясно было: стреляют в самой Гатчине или на ближних окраинах.

Мы переглянулись. Одно и то же воспоминание мелькнуло у нас.

В мае 1914 года, в Гатчине на Варшавском пути, чья-то злая рука подожгла огромный поезд, груженный артиллерийскими снарядами. Всего взорвалось последовательно тринадцать вагонов. Но так как снаряды рвались не сразу вагонами, а часто-часто, один за другим, то эта музыка продолжалась с трех часов утра до семи. До нас долетала шрапнельная начинка и развороченные шрапнелью стаканы, уже на «излете». Опасности от них большой не было. Нужно было только не высовываться из дома.

На наших глазах один стакан (а в нем фунтов восемь, десять) пробил насквозь железный тамбур над сенями, другой сшиб трубу с прачечной, третий снес с замечательной ловкостью верхушку старой березы. Шрапнельная дробь все время, как град, стучала по крыше. Мы потом насобирали полное лукошко этих веских свинцовых шариков величиною с вишню.

Наш дом тогда очень мало пострадал. Гораздо больше досталось художнику М., дом которого стоял у самого пути, шагах в пятидесяти от рельсов. Снаряды пробивали насквозь марсельскую черепицу и падали на чердак. Художник потом

насчитал 80 пробоин. Человеческая жертва была одна: убило стаканом какую-то старушку на Люцевской улице.

Но у нас была забота посерьезнее материального ущерба. В то время в нашем доме помещался маленький лазарет, всего на десять раненых солдат. Он всегда бывал полон, хотя, конечно, состав его менялся. На этот раз десятка была, как на подбор, самая душевная, удалая и милая. Все наши заботы о них солдаты принимали с покровительственным добродушием старших братьев. Тон установился серьезный и деловой; в отношениях — суровая и тонкая деликатность. Только в минуты прощания, перед возвращением на фронт, в грубой простоте раскрывались на минутку, тепло и светло, человеческие сердца. Да еще в легких мелочах сказывалась скрытая, не болтливая дружба. Но я, кажется, уклоняюсь в сторону.

Пусть расскажет когда-нибудь Н. Н. Кедров о том, как чутко слушали у нас солдаты его чудесный квартет, как широко и свободно благодарили, как глубоко и умно понимали красоту русской песни, восстановленной в строжайших формах, очищенной, как от ржавчины, от небрежности и плохого вкуса. Настоящими добрыми

хозяевами тогда показывали себя солдаты… А как они слушали Гоголя!

Но в тот день с ними сладу не было. Они рвались вон из лазарета, в халатах, в туфлях, без шапок, как были.

— Сестра! Сестрица! Да пустите же. Ведь надо расцепить поезд. Ведь страшного ничего. Пустое дело.

И не будь крепких невидимых вожжей в руках маленькой женщины, конечно, все десятеро удрали бы на вокзал расцеплять поездной состав. Кстати, он и был потом расцеплен. Это сделал тринадцатилетний мальчуган, сын стрелочника. Он спас от взрыва девять двойных платформ, нагруженных снарядами для тяжелых орудий.

Я ведь почему об этом говорю. Я допускаю, что все эти дорогие моему сердцу, чудесные солдаты: Николенко, Балан, Дисненко, Тузов, Субуханкулов, Курицын, Буров и другие — могли быть потом вовлечены мутным потоком грязи и крови в нелепую «борьбу пролетариата». Но русскому человеку вовсе не мудрено прожить годы разбойником, а после внезапно раздать награбленное нищим и, поступив в монастырь, принять схиму.

Прострочил пулемет и затих. Тотчас же, где-то в

ином месте, неподалеку, заработал другой. Остановился. Коротко, точно заканчивая перебранку, плюнул в последний раз дробью и тоже замолк.

И долго стояла такая тишина, что только в ушах звенело да потрескивал слабо фитиль свечки. И вот где-то далеко-далеко раздалась и полилась солдатская песня. Я знал ее с моих кадетских времен. Не слышал ее года уже три, но теперь сразу признал. И как будто улавливая слова, сам запел потихонечку вместе с нею:

Из-под горки, да из-под крутой
Ехал майор молодой.
Держал Сашу под полой,
Не под левой, под правой.
Держал Сашу под полой,
С Машей здравствовался:
— Здравствуй, Маша. Здравствуй, Даша,
Здравствуй, милая Наташа,
Здравствуй, милая моя,
Дома ль маменька твоя?
— Дома нету никого,
Полезай, майор, в окно.

Майор ручку протянул…

Жена, пробывшая всю японскую войну под огнем и знавшая солдатские песни, засмеялась (после какого длинного промежутка!).

— Ну, уж это, конечно, поют не красные. Иди-ка спать. Завтра все узнаем.

Я лег и, должно быть, уже стал задремывать… как вдруг вся земля подпрыгнула и железным голосом крикнула на весь мир:

— Д о н н!

Но не было страшно. Мгновенно и радостно я утонул в глубоком, впервые без видений сне.

VII. Шведы

Повторяю: точных чисел я не помню. Не так давно мы с генералом П. Н. Красновым вспоминали эту быль, отошедшую от нас в глубину семи лет, и наши даты значительно разошлись. Но сама-то быль сначала была похожа на прекрасную сказку.

Кто из русских не помнит того волшебного, волнующего чувства, которое испытываешь, увидев утром в окне первый снег, нападавший за ночь!.. Описать это впечатление в прозе невозможно. А в стихах это сделал с несравненной простотою и красотой Пушкин.

Вот такое же чувство простора, чистоты, свежести и радости я испытывал, когда мы вышли утром на улицу. Был обыкновенный солнечный, прохладный осенний день. Но душа играла и видела все по-своему. Из дома напротив появилась наша соседка г-жа Д., пожилая и очень мнительная женщина. Поздоровались, обменялись вчерашними впечатлениями. Г-жа Д. все побаивалась, спрашивала, можно ли, по нашему мнению, безопасно пройти в город, к центру.

Мы ее успокаивали. Как вдруг среди нас как-то внезапно оказалась толстая, незнакомая, говорливая баба. Откуда она взялась, я не мог себе представить.

— Идите, идите, — затараторила она, оживленно размахивая руками. Ничего не бойтесь. Пришли, поскидали большевиков и — никого не трогают!

— Кто пришли-то, милая? — спросил я.

— А шведы пришли, батюшка, шведы. И все так чинно, мирно, благородно, по-хорошему. Шведы, батюшка.

— Откуда же вы узнали, что шведы?

— А как же не узнать? В кожаных куртках все… железные шапки… Большевицкие объявления со стен сдирают. И так-то ругаются, так-то ругаются на большевиков!

— По-шведски ругаются?

— Какое по-шведски! Прямо по-русски, по-матерну, да так, что на ногах не устоишь. Так-то, да разэтак, да этак-то…

И посыпала, как горохом, самым крутым и крупным сквернословием, каким раньше отличались волжские грузчики и черноморские боцманы и какое ныне так легко встретить в советской литературе. Уж очень в задор вошла

умиленная баба. Мы трое стояли, не смея глаз поднять друг на друга.

— Говорю вам, шведы!

Отвязались от нее. Пошли дальше. На правом углу Елизаветинской и Баговутовской, около низенького зеленого, точно игрушечного пулемета, широко расставив ноги, в кожаной куртке и с французским шлемом на голове торчал чистокровный швед Псковской губернии. Был он большой, свежий, плотный, уверенный в себе, грудастый. Его широко расставленные зоркие глаза искрились умом и лукавой улыбкой.

Увидав меня через улицу (на мне были защитного цвета короткое пальто и мохнатая каскетка), он весело мотнул мне головой и крикнул:

— Папаша! Вам бы записаться в армию.

— Затем и иду, — ответил я. — Это где делается?

— А вона. Где каланча. Да поглядите, сзади вас афишка.

Я обернулся. На стене было приклеено белое печатное объявление. Я прочитал, что жителям рекомендуется сдать имеющееся оружие коменданту города, в помещении полиции. Бывшим офицерам предлагается явиться туда же для регистрации.

— Ладно, — сказал я. И не утерпел, чтобы не поточить язык: — А вы сами пскопские будете?

— Мы-то? Пскопские.

— Скобари, значит?

— Это самое. Так нас иногда дражнят.

Все просторное крыльцо полицейского дома и значительная часть площади были залиты сплошной толпою. Стало немного досадно: не избежать долгого ожидания очереди, а терпения в этот день совсем не было у меня в запасе.

Но я не ждал и трех минут. В дверях показался расторопный небольшого роста юноша, ловко обтянутый военно-походной формой и ремнями светлой кожи.

— Нет ли здесь г. Куприна? — крикнул он громко.

— Я!

— Будьте добры, пожалуйте за мною.

Он помог мне пробраться через толпу и повел меня какими-то нижними лестницами и коридорами. Меня удивляло и, по правде сказать, немного беспокоило: зачем я мог понадобиться. Совесть моя была совершенно чиста, но в таких случаях невольно делаешь разные возможные предположения. Я же, как ни старался, не мог придумать ни одного.

Он привел меня в просторную полуподвальную комнату. Там сидел за письменным столом веснушчатый молодой хорунжий; что он казак, я угадал по взбитому над левым ухом лихому чубу (казаки его называют «шевелюр», ибо на езде он задорно шевелится). Ходил взад и вперед инженерный офицер в светло-сером пальто. И еще я увидел стоящего в углу моего хорошего знакомого, Иллариона Павловича Кабина, в коричневом френче и желтых шнурованных высоких сапогах, очень бледного, с тревожным усталым лицом.

Офицер сказал ему:

— Я попрошу вас удалиться в другую комнату и там подождать.

Потом он подошел ко мне. Он был вовсе маленького роста, но полненький и щеголеватый, в своей прежней довоенной, саперной форме, весь туго подтянутый, с светло-стальными глазами в очках. Он назвал мне свою фамилию и сказал следующее:

— Я извиняюсь, что вызвал вас по тяжелому и неприятному обстоятельству. Но что делать? На войне, а в особенности гражданской, офицеру не приходится выбирать должностей и обязанностей, а делать то, что прикажут. Я должен вас спросить относительно этого человека. Я заранее

уверен, что вы скажете мне только истину. Предупреждаю вас, что каждому вашему показанию я дам безусловную веру. В каких отношениях этот человек, г. Кабин, находился или находится к советскому правительству? Дело в том, что я сейчас держу в руках его жизнь и смерть… Здесь контрразведка.

О, как мне сразу стало легко. Я действительно мог сказать и сказал о Кабине только хорошее.

Да, он был комиссаром по охране Гатчинского дворца и его чудесного музея. Но такими же комиссарами назывались и пришедшие потом на его место граф Зубов и г. Половцев, чьи имена и убеждения выше всяких сомнений. Впоследствии он был комиссаром по собиранию и охранению полковых музеев и очень многое спас от расхищения. Кроме же этого, он всего неделю назад показал себя и порядочным человеком и хорошим патриотом. В его руки, путем взаимного доверия, попали портфели Великого Князя с интимной, домашней перепиской. Боясь обыска, он пришел ко мне за советом: как поступить ему. Так как меня тоже обыскивали не раз, а мешать сюда еще кого-либо третьего мне казалось безрассудным, то я предложил эту корреспонденцию сжечь. Так мы и сделали. Под разными предло-

гами услали его жену, двух стариков и четырех детей из дома и растопили печку. Ключа не было, пришлось взломать все двадцать четыре прекрасных сафьяновых портфеля и сжечь не только всю переписку, но и тщательно вырезать из углов золототисненые инициалы и короны и бросить их в печку. Согласитесь — поступок не похож на большевистский.

— Очень благодарю вас за показание, — сказал поручик Б. и потряс мне руку. — Всегда отрадно убедиться в невинности человека (он вообще был немного аффектирован). Г. Кабин! Вы свободны, — сказал он, распахивая дверь. — Позвольте пожать вашу руку.

Прощаясь с ним, я не удержался от вопроса:

— Кто вам донес на Кабина?

Б. поднял руки к небу.

— Ах, Боже мой! Еще с пяти часов утра нас стали заваливать анонимными доносами. Видите, на столе какая куча. Ужасно.

В коридоре Кабин кинулся мне на шею и обмочил мою щеку.

— Я не ошибся, сославшись на вас. Вы — ангел, — бормотал он. — Ах, как хотел бы я в серьезную минуту отдать за вас жизнь…

Тогда ни он, ни я не предвидели, что такая ми-

нута настанет и что она совсем недалека.

VIII. Широкие души

Когда я выбрался боковым выходом из полицейского подземелья на свет Божий, то был приятно удивлен. В соборе радостно звонили уже год молчавшие колокола (церковный благовест был воспрещен советской властью). Кроткие обыватели подметали тротуары или, сидя на карачках, выщипывали полуувядшую травку, давно выросшую между камнями мостовой (проснулось живучее, ничем не истребимое чувство собственности). Над многими домами развевался национальный флаг: Белый — Синий — Красный.

«Что за чудо, — подумал я. — Большевики решительно требовали от нас, чтобы мы, в дни их торжеств, праздников и демонстраций, непременно украшали жилища снаружи кусками красной материи. Нахождение при обыске национального флага, несомненно, грозило чекистским подвалом и, почти наверное, расстрелом. Какая же сила, какая вера, какое благородное мужество и какое великое чаяние заставляли жителей хранить и беречь эти родные цвета!»

Да, это было трогательно. Но когда я тут же вспомнил о виденной мною только что горе анонимных доносов, которые обыватели писали на своих соседей, то должен был признаться самому себе, что я ничего не понимаю. Или это та широкая душа, которую хотел бы сузить великий писатель?

И сейчас же, едва завернув за угол полицейского дома, я наткнулся на другой пример великодушия.

Шло четверо местных учителей. Увидя меня, они остановились. Лица их сияли.

Они крепко пожимали мою руку. Один хотел даже облобызаться, но я вовремя закашлялся, закрыв лицо рукою. «Какой великий день! — говорили они, — какой светлый праздник!» Один из них воскликнул: «Христос Воскрес!», а другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. Меня покоробило в них что-то надуманное, точно они «представляли».

А учитель Очкин слегка отвел меня в сторону и заговорил вполголоса, многозначительно:

— Вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Ведь вы и не подозревали, а между тем в списке, составленном большевиками, ваше имя было одно из первых в числе кандидатов в заложники

и для показательного расстрела.

Я выпучил глаза:

— И вы давно об этом знали?

— Да как сказать?.. месяца два.

Я возмутился:

— Как? Два месяца? И вы мне не сказали ни слова.

Он замялся и заежился:

— Но ведь согласитесь: не мог же я? Мне эту бумагу показали под строжайшим секретом.

Я взял его за обшлаг пальто.

— Так на какой же черт вы мне это сообщаете только теперь? Для чего?

— Ах, я думал, что вам это будет приятно…

…Ну и отличились же вскоре эти педагоги, эти ответственные друзья, вторые отцы и защитники детей!

Одновременно с вступлением белой армии приехали в Гатчину на огромных грузовых автомобилях благотворительные американцы. Они привезли с собою исключительно для того, чтобы подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей, — значительные запасы печенья, сгущенного молока, рису, какао, шоколаду, яиц, сахара, чая и белого хлеба.

Это были канадские американцы. Воспоми-

нания о них для меня священны. Они широко снабжали необходимыми медицинскими средствами все военные аптеки и госпитали. Они перевозили раненых и больных. В их обращении с русскими были спокойная вежливость и христианская доброта — сотни людей благословляли их.

Со своей североамериканской точки зрения они, конечно, не могли поступить более разумно и практично, как избрать местных учителей посредствующим звеном между дающей рукой и детскими ртами. Ведь очень давно и очень хорошо, с самой похвальной стороны известен престиж американского учителя в обществе.

Но известно также — по крайней мере нам, — что в России «особенная стать».

Таким густым, обильным потоком полилось жирное какао в учительские животы, такие живописные яичницы-глазуньи заворчали на их учительских сковородах, такой разнообразный набор пищевых пакетов наполнил полки учительских буфетов, комодов, шкафов и кладовок, что добрые канадцы только ахнули. Да надо сказать, что учительницы, которым доверяли детские столовые, оказались не лучше.

Но эти злые мелочи не отвратили и не оттолк-

нули умную американскую благотворительность от прекрасного доброго дела.

Они только, через головы русской общественности, вынесли чисто практическое решение.

«Мы теперь должны позаботиться сами, чтобы на наших глазах каждая ложка и каждый кусок попали в детские рты по прямому назначению».

Так и сделали. Я не особенно старался воображать себе, какое мнение о русском обществе увезли с собой домой, в Канаду, славные американцы.

Вот еще нелепая встреча: расставшись с учителями, я подряд встретился с г. К. Это был очень приличный, довольно значительный чиновник, не знаю какого ведомства. Я был знаком с ним только шапочно. Всегда он был холодно-вежлив, суховато-обязателен и на гатчинских жителей поглядывал немножко свысока. Он был коллекционером, собирал красное дерево и фарфор. В Гатчине множество находилось этого добра и за дешевые цены. Когда-то здесь жили Орлов, Потемкин и Павел I. Екатерина бывала часто гостьей во дворце, где камни и паркеты создавались по рисункам Растрелли и Кваренги. Там жизнь была когда-то богатая и красивая.

Г-н К. поздоровался со мной необычайно ожив-

ленно.

— Поздравляю, поздравляю! — сказал он. — А кстати. Ходили уже смотреть на повешенных?

— Я о них ничего не слыхал.

— Если хотите, пойдемте вместе. Вот тут недалеко, на проспекте. Я уже два раза ходил, но с вами, за компанию, посмотрю еще.

Конечно, я не пошел. Я могу подолгу смотреть на мудрую таинственную улыбку покойников, но вид насильственно умерших мне отвратителен.

Г-н К. рассказал мне подробно, что были утром повешены гатчинский портной Хиндов и какой-то оставшийся дезертир из красных. Они взломали магазин часовщика, еврея Волка, и ограбили его. Хиндов взял только швейную машину. Красноармеец захватил с собой несколько дешевых часов. Волк в это время был с семьей в городе. Грабителей схватила публика и отдала в руки солдат. Обоих повесили рядом на одной березе и прибили белый листок с надписью: «За грабеж населения».

Было еще двое убитых. Один не известный никому человек, должно быть, яростный коммунист. Он взобрался на дерево и стал оттуда стрелять в каждого солдата, который показывался в поле его зрения. Его окружили. Он выпустил

целую ленту из маузера и после этого был застрелен. Запутался в ветвях, и труп его повис на них. Так его и оставили висеть.

А другой… да, другой был несчастный Яша Файнштейн. Он выполнил свое обещание: влез на воз с капустой, очень долго и яростно проклинал Бога, всех царей, буржуев и капиталистов, всю контрреволюционную сволочь и ее вождей.

Его многие знали по Гатчине… Некоторые люди пробовали его уговорить, успокоить. Куда! Он был в припадке бешенства. Его схватили солдаты, отвезли в Приоратский парк и там расстреляли.

У него была мать. Ей слишком поздно сказали о Яшиной иеремиаде. Может быть, если бы она поспела вовремя, ей удалось бы спасти сына. Она могла бы рассказать, что Яша год назад сидел в психиатрической лечебнице у д-ра Кащенко, в Сиворицах.

Ах, Яша! Мне и до сих пор его остро жалко. Я не знал ничего о его душевной болезни.

Да и первый коммунист — не был ли больным?

IX. Разведчик Суворов

В помещении коменданта была непролазная давка. Не только пробраться к дверям его кабинета, но и повернуться здесь было трудно. Однако, буравя толпу и возвышаясь над ней целой головою — черной, потной и лохматой, прокладывал себе путь в ее гущине рослый, веселый солдат без шапки и кричал зычным, хриплым голосом, точно средневековый вербовщик (по-своему он был красноречив).

— Записывайтесь гражданы! Записывайтесь, православные! Будет вам корчиться от голода и лизать большевикам пятки. Будет вам прятаться под бабьи юбки и греть ж… на лежанке. Мы не одни, за нами союзники: англичане и французы! Завтра придут танки! Завтра привезут хлеб и сало! Видели небось, как перед нами бегут красные? Недели не пройдет, как мы возьмем Петербург, вышибем к чертовой матери всю большевицкую сволочь и освободим родную Россию. Слава будет нам, слава будет и вам! А если уткнетесь в тараканьи щели — какая же вам, мужикам, честь? — Не мужчины вы будете, а г… Тьфу! Не бойтесь: впе-

ред на позиции не пошлем — возьмем только охотников, кто помоложе и похрабрее. А у кого кишка потоньше — тому много дела будет охранять город, конвоировать и стеречь пленных, нести унутреннюю службу. Записывайтесь, молодцы! Записывайтесь, красавцы! Торопитесь, гражданы!

Очень жалко, что я теперь не могу воспроизвести его лапидарного стиля. Да, впрочем, и бумага не стерпела бы. Его слушали оживленно и жадно. Не был ли это всем известный храбрец и чудак Румянцев, фельдфебель первой роты Талабского полка?

Я решил зайти в комендантскую после обеда, кстати захватив паспорт и оружие.

Не успел я раздеться, как к моему дому подъехали двое всадников: офицер и солдат. Я отворил ворота. Всадники спешились. Офицер подходил ко мне, смеясь.

— Не узнаете? — спросил он.

— Простите… что-то знакомое, но…

— Поручик Р-ский.

— Батюшки! Вот волшебное изменение. Войдите, войдите, пожалуйста.

И мудрено было его узнать. Виделись мы с ним в последний раз осенью 17-го года. Он тогда, окон-

чив Михайловское училище, держал экзамен в Артиллерийскую академию и каждый праздник приезжал из Петербурга в Гатчину к своим стареньким родственникам, у которых я часто играл по вечерам в винт: у них и встретились.

У нас было мало общего, да и не могу сказать, чтобы он мне очень нравился. Был и недурен собою, и молод, и вежлив, но как-то чересчур весь застегнут — в одежде и в душе: знал наперед, что скажет и что сделает, не пил, не курил, не играл в карты, не смеялся, не танцевал, но любил сладкое. Даже честолюбия в нем не было заметно: был только холоден, сух, порядочен и бесцветен. Такие люди, может быть, и ценны, но — просто у меня не лежит к ним сердце.

Теперь это был совсем другой человек. Во-первых, он потерял в походе пенсне с очень сильными стеклами. Остались два красных рубца на переносице; а поневоле косившие серые глаза сияли добротой, доверием и какой-то лучистой энергией. Решительно он похорошел. Во-вторых, сапоги его были месяц как не чищены, фуражка скомкана, гимнастерка смята и на ней недоставало нескольких пуговиц. В-третьих, движения его стали свободны и широки. Кроме того, он совсем утратил натянутую сдержанность. Куда девался

прежний «тоняга»?

Я предложил ему поесть, чего Бог послал. Он охотно без заминки согласился и сказал:

— Хорошо было бы папироску, если есть.

— Махорка.

— О, все равно. Курил березовый веник и мох! Махорка — блаженство!

— Тогда пойдемте в столовую. А вашего денщика мы устроим… — сказал я и осекся.

Р-ский нагнулся ко мне и застенчиво, вполголоса сказал:

— У нас нет почтенного института денщиков и вестовых. Это мой разведчик, Суворов.

Я покраснел. Но огромный рыжий Суворов отозвался добродушно:

— О нас не беспокойтесь. Мы посидим на куфне.

Но все-таки я поручил разведчика Суворова вниманию степенной Матрены Павловны и повел офицера в столовую. Суворову же сказал, что, если нужно сена, оно у меня в сеновале, над флигелем. Немного, но для двух лошадей хватит.

— Вот это ладно, — сказал одобрительно разведчик. — Кони, признаться, вовсе голодные.

Обед у меня был не Бог знает какой пышный: похлебка из столетней сушеной воблы с пшеном

да картофель, жаренный на сезанном масле (я до сих пор не знаю, что это за штука — сезанное масло; знаю только, что оно, как и касторовое, не давало никакого дурного отвкуса или запаха и даже было предпочтительнее, ибо касторовое — даже в жареном виде — сохраняло свои разрывные качества). Но у Р-ского был чудесный аппетит и, выпив рюмку круто разбавленного спирта, он с душою воскликнул, разделяя слога:

— Вос-хи-ти-тель-но!

Расцеловать мне его хотелось в эту минуту — такой он стал душечка. Только буря войны своим страшным дыханием так выпрямляет и делает внутренне красивым незаурядного человека. Ничтожных она топчет еще ниже — до грязи.

— А разведчику Суворову послать? — спросил я.

— Он, конечно, может обойтись и без. Однако, не скрою, был бы польщен и обрадован.

За обедом и потом за чаем Р-ский рассказывал нам о последних эпизодах наступления на Гатчину.

Он и другие артиллеристы вошли в ту колонну, которая преодолевала междуозерное пространство. Я уж не помню теперь расположения этих речек: Яны, Березны, Соби и Желчи; этих озер:

Самро, Сяберского, Заозерского, Газерского. Я только помнил из красных газет и сказал Р-скому о том, что Высший Военный Совет, под председательством Троцкого, объявил это междуозерное пространство абсолютно непроходимым.

— Мы не только прошли его, но протащили легкую артиллерию. Черт знает, чего это стоило, я даже потерял пенсне. Какие солдаты! Я не умею передать, — продолжал он. — Единственный их недостаток — не сочтите за парадокс — это то, что они слишком зарываются вперед, иногда вопреки диспозиции, увлекая невольно за собою офицеров. Какое-то бешеное стремление! Других надо подгонять — этих удержать нельзя. Все они, без исключения, добровольцы или старые боевые солдаты, влившиеся в армию по своей охоте. Возьмите Талабский полк. Он вчера первым вошел в Гатчину. Основной кадр его это рыбаки с Талабского озера. У них до сих пор и говор свой собственный, все они цокают: поросеноцек, курецька, цицверг. А в боях — тигры. До Гатчины они трое суток дрались без перерыва; когда спали — неизвестно. А теперь уже идут на Царское Село. Таковы и все полки.

— Смешная история, — продолжал он, — случилась вчера вечером. Талабцы уже заняли

окраины Гатчины, со стороны Балтийского вокзала, а тут подошел с Сиверской Родзянко со своей личной сотней. Они столкнулись и, не разобравшись в темноте, начали поливать друг друга из пулеметов. Впрочем, скоро опознались. Только один стрелок легко ранен.

— Я ночью слышал какой-то резкий взрыв, — сказал я.

— Это тоже талабцы. Капитан Лавров. На Балтийском вокзале укрылась красная засада. Ее и выставили ручной гранатой. Все сдались.

Р-ский собирался уходить. Мы в передней задержались. Дверь в кухню была открыта. Я увидел и услышал милую сцену.

Матрена Павловна, тихая, слабая, деликатная старая женщина, сидела в углу, вытирая платочком глаза. А разведчик Суворов, вытянув длинные ноги, так что они загородили от угла до угла всю кухню, и развалившись локтями на стол, говорил нежным фальцетом:

— Житье, я вижу, ваше паршиво. Ну, ничего, не пужайтесь боле, Матрена Павловна. Мы вас накормим и упокоим и от всякой нечисти отобьем. Живите с вашим удовольствием, Матрена Павловна, вот и весь сказ.

Р-ский уехал со своим разведчиком. Я прово-

жал его. На прощание он мне сказал, что меня хотели повидать его сотоварищи-артиллеристы. Я сказал, что буду им рад во всякое время.

Возвращаясь через кухню, я увидел на столе сверток.

— Не солдат ли забыл, Матрена Павловна?

— Ах, нет. Сам положил. Сказал — это нашему семейству в знак памяти. Я говорю: зачем? нам без надобности, а он говорит: чего уж.

В пакете был белый хлеб и кусок сала.

X. Хромой черт

День этот был для меня полон сумятицы, встреч, новых знакомств, слухов и новостей. Подробностей мне теперь не вспомнить. Такие бесконечно длинные дни, и столь густо напичканные лицами и событиями, бывают только в романах Достоевского и в лихорадочных снах.

Идя к коменданту, я увидел на заборах новые объявления — белые узкие листки с четким кратким текстом:

«Начальник гарнизона полковник Пермикин предписывает гражданам соблюдать спокойствие и порядок». И больше ничего.

Комендант принял меня, поднявшись мне навстречу с кожаного продранного дивана. Наружность его меня поразила. Он был высок, худощав, голубоглаз и курнос. Вьющиеся белокурые волосы в художественном беспорядке спускались на его лоб. Похож он был на старинные портреты военных, молодых героев времен Отечественной войны, 1812 года, но было в нем еще что-то общее с Павлом I, бронзовая статуя которого высится на цоколе напротив Гатчинского дворца. Взгляд его

был открыт, смел, весел и проницателен; слегка прищуренный — он производил впечатление большой силы и твердости.

Я «явился» ему по форме. Он оглянул меня сверху вниз и как-то сбоку, по-петушиному. С досадою прочитал я в его быстром взоре обидную, но неизбежную мысль:

«А лет тебе все-таки около пятидесяти».

— Прекрасно, — сказал он любезным тоном. — Мы рады каждому свежему сотруднику. Ведь, если я не ошибаюсь, вы тот самый… Куприн… писатель?

— Точно так, господин капитан.

— Очень приятно. Чем же вы хотите быть нам полезным?

Я ответил старой солдатской формулой:

— Никуда не напрашиваюсь, ни от чего не откажусь, г. капитан.

— Но приблизительно… имея в виду вашу профессию?

— Мог бы писать в прифронтовой газете. Думаю, что сумел бы составить прокламацию или воззвание…

— Хорошо, я об этом подумаю и разузнаю, а сейчас напишу вам препроводительную записку в штаб армии. Теперь же отбросьте всякую офи-

циальность. Садитесь. Курите.

Он пододвинул мне раскрытый серебряный портсигар с настоящими, богдановскими папиросами. Я совсем отвык от турецкого табака. От первой же затяжки у меня томно помутнело в глазах и блаженно закружилась голова.

Когда комендант окончил писать, я осторожно спросил о событиях прошедшей ночи.

Лавров охотно рассказывал (умолчав, однако, о недоразумении с пулеметами). Еще ночью был назначен комендантом города командир 3-го батальона Талабского полка полковник Ставский. Он тотчас же занял товарный вокзал с железнодорожными мастерскими и так нажал на рабочих, что к рассвету уже стоял на рельсах, с готовым паровозом, ямбургский поезд. Недаром он, по прежней службе, военный инженер. Утром Ставский опять принял свой батальон, чем был чрезвычайно доволен, а обязанности коменданта возложили на капитана Лаврова, к его великому неудовольствию. Эти изумительные офицеры С.-З. Армии боялись штабных и гарнизонных должностей гораздо больше, чем люди, заевшиеся и распустившиеся в тылу, боятся назначения в боевые части. Таков уж был их военный порок. Бои были для них ежедневным привычным де-

лом, а стремительное движение вперед стало душевной привычкой и неисправимой необходимостью.

— Возражать против приказания у нас никто и подумать не смеет, говорил Лавров. — Ну, вот я, скажем, комендант. Прекрасно. Они говорят: ты хромой, тебе надо передохнуть. Да, действительно, я хромой. Старая рана. Когда сблизимся — большевики мне всегда орут: «Хромой черт! Опять ты зашкандыбал, растак-то и растак-то твоих близких родственников!» Но ведь я же вовсе не расположен отдыхать. Ну да, я комендант. Но душа моя вросла вся в 1-ю роту Талабского полка. Я ею командовал с самого начала, с первого дня формирования полка из талабских рыбаков, когда мы бомбами вышибали большевиков из комиссариатов и совдепов.

— Как вчера? — лукаво спросил я. Он махнул рукой с беспечной улыбкой.

— Пустяки. Главное то, что я вот сижу и обывательскую труху разбираю, а семеновцы и талабцы уже поперли скорым маршем на Царское, и моя рота впереди, но уж не под моей командой. Впрочем, скоро вы ни одного солдата в Гатчине не увидите. Мы наши боевые части всегда держим на окраинах, по деревням и мысам, а городов из-

бегаем. Только штабы в городах. Соблазна много: бабы, притоны, самогон и все такое.

Я, вспомнив об утренних повешенных громилах, спросил:

— Ну как же без солдат можно ручаться за порядок в городе?

— Будьте спокойны. Вы видели только что расклеенные объявления? Видели, кто их подписал?

— Полковник Пермикин, — сказал я.

— И баста. Точка. Теперь, правда, уже не полковник, а генерал. Сегодня после молебна генерал Родзянко его поздравил с производством. Но все равно, раз начертано его имя, то можете сказать всем гатчинским байбакам, что они могут спать спокойно, как грудные младенцы.

— Строг?

— В бою лют, стрелками обожаем. В службе требователен. В другое время серьезен и добр, но все-таки надо вокруг него ходить с опаскою, без покушений на близость. Зато слово его твердо, как алмаз, и даром он его не роняет.

— Шутки с ним, значит, плохи?

— Не рекомендовал бы. Он развлекается совсем по-другому. Да вот сегодня, всего часа три назад, что он сделал! — Лавров вдруг громко, по-юношески расхохотался. — Подождите, я сей-

час расскажу вам. Только отпущу этих четырех. (Надо сказать, что во все время нашего разговора он не переставал спокойно подписывать бумаги, отдавать приказания и принимать разношерстный народ.)

— Ну теперь послушайте. Это — потеха.

И он передал мне следующее, что я передаю, как умею.

По случаю благополучного занятия Гатчины назначен был в соборе молебен (звон к нему я слышал утром), а после него парад, который должен был принять генерал Родзянко. В храм прибыло всё военное командование, все свободные от службы офицеры, присутствовал, конечно, и Пермикин, тогда еще полковник, а через полчаса генерал.

Но в начале богослужения у него вдруг всплыла в голове беспокойная мысль. Он за нынешний день отдал бесчисленное количество приказаний и в их числе распорядился, чтобы было перерыто около Вайволы шоссе, ведущее на Петербург. Город был почти пуст, а, по данным разведки, где-то, на пути к северу, задержалась большая красная часть с броневиком германского типа. От нее всегда можно было ожидать внезапного налета. И Пермикин затревожился: точно ли

было понято его приказание и приведено ли оно в исполнение.

Наконец он не утерпел. Подал головою знак своему адъютанту, и они потихоньку вышли из церкви на площадь, где дожидался их быстроходный автомобиль Пермикина с двумя шоферами-финнами, которые уже давно были известны своим баснословным финским хладнокровием, позволявшим им выполнять точно, безукоризненно и находчиво самые безумные виражи.

Быстро проскочили они Гатчину, артиллерийские казармы, заставу, Орлову рощу. У Вайволы толпились на шоссе люди с кирками, мотыгами и лопатами. Шли с предельной скоростью. На миг почудилось Пермикину, что перед ним мелькнула и тотчас же уплыла назад рассыпанная цепь пехоты. Он хотел уже остановить мотор. Но было поздно. За поворотом выросла красноармейская застава. Двое солдат с ружьями наперевес бежали к автомобилю.

При таком положении — все дело в находчивости… Пермикин приказал автомобилю остановиться, а сам он, вместе с адъютантом, как были в золотых погонах, высунулись и стали делать красноармейцам подзывающие жесты. Те не успели еще подбежать, как Пермикин издали

закричал:

— Скорее, товарищи, скорее! За нами гонятся белые! Мы едем сдаться красному командованию! Дорога каждая минута! Укажите, как здесь проехать в красный штаб! Да, впрочем, чего лучше, доставьте нас туда сами. Полезайте-ка, товарищи! Живо!

Оторопелые красноармейцы послушно полезли в автомобиль. Дверца захлопнулась. Пермикин послал озиравшемуся назад финну быстрый кругообразный знак указательным пальцем. В ту же секунду два револьвера уперлись в лбы красных солдат.

— Клади оружие!

Мотор круто повернулся назад и полетел стремглав в Гатчину.

В церкви пели «Спаси, Господи, люди Твоя», когда в нее вошел незаметно и бесшумно Пермикин. Сдав своих «языков» конвою, он еще успел прослушать короткую, прекрасную проповедь отца Иоанна и отсалютовать шашкой на парад генералу Родзянко, поздравившему его с генеральским чином.

Но уже пора мне было откланяться. Лавров добродушно просил меня заходить почаще. «Вам нужны всякие наблюдения, а я каждый день

здесь буду торчать до глубокой ночи».

Я спохватился:

— Кому здесь сдают оружие?

— Спуститесь вниз, в контрразведку.

XI. Обрывки

Только вчера (15 янв. 1927 г.) вспомнил я о моей старинной записной книжке и с великим трудом отыскал ее в бумажном мусоре. Это даже не книжка, а побуревшие клочки бумаги без переплета, исписанные карандашными каракулями; большинство страниц пропало бесследно.

Хлопотливый день моей явки к коменданту уцелел и помечен 17 октября. Выписываю скорее по догадкам, чем по тексту, то, что тогда впопыхах занесено.

17 октября

От Л[аврова] — в Штаб корпуса. Это бывшая учительская семинария. Никогда не был. Прекрасное здание (внутри), большие залы. Свет. Паркеты. Адъютант типичный штабной. Шикарный френч, лакированные сапоги, белые руки. Сам длинный, тонкий, вымытый. Пробор. Напоминает мне о старом знакомстве. Не вспомнил. Сделал вид: как же, как же. Фамилия птичья. Забыл. Смотрели на карту, чтобы меня ориентировать в положении. Штука: он плохо разбирается, читает карту «от топографической печки».

Начальник штаба Видягин. Рослый, хорошо сложен, сильный, строгий. Загорел густо, в оливковый цвет. Прилаживал и примерял полковничьи погоны (сегодня произведен: одна полоска лишняя). С ним, должно быть, тяжело. Ходит по кабинету. Большие ноги, крепко стучит каблуками. Весь прям, и грудь напружена. Голова бодливо опущена, руки за спиной, хмурится, лицо выражает важность и глубокую мысль. Наполеон?

Оба спрашивали о Горьком, Шаляпине (то же и Лавров). Хотелось рассказать о словах Троцкого («Правда») в высшем совете (давно): «Гатчину отдадим, а бой примем около Ижорки, в местности болотистой (Лопатин) и очень пересеченной». Не решился. Все-таки не свой, полушпак. Оборвут.

В. спросил меня, не соглашусь ли я взять на себя регистрацию пленных и добровольцев. Конечно, не по мне, но… «Слушаю, г. полковник». Отпущен был благосклонно. Однако суровая здесь атмосфера. Да и надо так.

Зашел в контрразведку. Там опять Кабин. Сдал наган казаку с веснушками и шевелюрой. Он улыбнулся немного презрительно и горько. «Я бы свое оружие никогда не отдал». Мальчик! Портсигар в руках находчивого человека стоит

больше, чем револьвер в руках труса. А сколько было людей невинно продырявлено дураками и рукосуями. Савинков мне говорил (1912 г., Ницца): «Верьте, заряженный револьвер просится и понуждает выстрелить». Но в отместку подхорунжему я сказал: «Я не жалею. У меня дома остался револьвер системы Мервинга, с выдвижным барабаном. Он не больше женской ладони, а бьет как браунинг». И правда, этот хорошенький револьвер лежал у меня между стенкой и привинченной к ней ванной. Его могла извлечь оттуда только маленькая ручка десятилетней девочки.

Кабин провожал меня. Сказал:

— Поручик Б. предлагает мне служить в контрразведке. Помогите: как быть?

Я:

— Регистрировались?

— Да.

— В таком случае это предложение равно приказу.

— Но что делать? Мне бы не хотелось.

Я рассердился:

— Мой совет — идите за событиями. Так вернее будет. Ершиться нечего. Вот я оказал вам случайную помощь… Нет, нет, это был просто долг

мало-мальски честного человека. Поручик Б. требует услугу за услугу. Но ведь и в контрразведке вы сами можете послужить справедливости и добру, и притом легко: только правдой. Видите, какой ворох доносов?

Простились.

(1927 год.) И надо сказать, он безукоризненно работал на этом месте, сделав много доброго. Он живой, напористый и чуткий человек. Притом с совестью. Пишет теперь премилые рассказы.

Зашел на вокзал посмотреть привезенные танки. Ромбические сороконожки, скалапендры. Ржаво-серые. На брюхе и на спине сотни острых цеплячек. Попадет в крутой овраг и, изгибаясь, выползет по другому откосу. В бою должны быть ужасающими. Их пять. Вот имена, пишу по памяти: «Доброволец», «Капитан Крамин». (Веское наименование.) «Скорая помощь», «Бурый медведь»… Стоп, заело (справиться). Господи. Будет ли?

Купил погоны поручичьи, без золота, у Сысоева в лавке старых вещей. Это уже в четвертый раз их надеваю: Ополченская дружина, Земгор, Авиационная школа и вот — Северо-Западная Армия. Дома мне обещали смастерить добровольческий угол на рукав. Устал… Сейчас приехали артил-

леристы: Р-ский и еще четыре. Что за милый, свежий, жизнерадостный народ. Как деликатны и умны. Недаром Чехов так любил артиллеристов.

Расспрашивают о нашем бытии, о красных повелителях. Жалеют, сочувствуют, возмущаются. И в конце концов непременно все-таки расспросы о Горьком и о Шаляпине. Право, уж мне надоело рассказывать.

Они рассказали много интересного. Между прочим: та вчерашняя отчетливая пальба, которая так радостно волновала меня и Евсевию, шла не от Коннетабля и не с аэродрома, как мне казалось, а несколько южнее. Стрелял бронепоезд «Ленин», остановившийся за следующей станцией после гатчинского балтийского вокзала.

— Черт бы его побрал, этот бронепоезд, — сказал с досадою капитан Г. Он нам уже не раз встречался в наступлении, когда мы приближались к железнодорожному пути. Конечно, он немецкого изделия, последнее слово военной науки, с двойной броней ванадиевой стали. Снаряды нашей легкой артиллерии отскакивали от него, как комки жеваной бумаги, а мы подходили почти вплотную. И надо сказать, что на нем была великолепная команда. Под Волосовом нам удалось взорвать виадук на его пути и в двух местах ис-

портить рельсы. Но «Ленин» открыл сильнейший огонь — пулеметный и артиллерийский и спустил десантную команду. Конно-егерский полк обстреливал команду в упор, но она чертовски работала. Не могу представить, какие были в ее распоряжении специальные приспособления! Она под огнем исправила путь, и «Ленин» ушел в Гатчину.

С огорченным лицом Г. помолчал немного, потом продолжал:

— Должен сказать, что виною отчасти были наши снаряды. Большинство не разрывалось. Мы наскоро сделали подсчет: из ста выстрелов получалось только девятнадцать разрывов. Да это что еще? Нам прислали хорошие орудия, но все без замков. «Где замки?» Оказывается — «забыли»…

— Но кто же посылал орудия и снаряды? — спросил я.

Г. помялся, прежде чем ответить.

— Не надо бы… Но скажу, по секрету… Англичане… Прежде чем им уехать, я, забыв мудрое правило «не напрашиваться и не отказываться», попросил их прислать за мною артиллериста с запасной лошадью, чтобы приехать к ним на позицию.

— Лошадь, — сказал я, — мне все равно какая

будет, хоть крестьянская клячонка. Но если возможно…

Они уехали, обещав мне сделать это. Условились о времени. Но так и не прислали. Полсуток в Гатчине — это была их последняя передышка. Дальше они все втянулись в непрерывные бои, вплоть до отступления, и отдохнули только в Нарве, горьким отдыхом.

XII. Газета

Итак: я готовился к кропотливой работе по регистрации и не могу сказать, чтобы это будущее занятие рисовалось мне в чертах занятных и привлекательных. Предвидел я, что полковник Видягин крутоват и требователен, но этого я не боялся. Мне почему-то верилось, что он скоро ко мне присмотрится и привыкнет и впоследствии — почем знать, — может быть, даст мне возможность увидеть, услышать и перечувствовать более яркие вещи, чем механическая возня по записыванию пленных и добровольцев. Судьба послала мне иное.

Прибыть мне приказано было в учительский институт на другой день к 10-ти часам, но в половине 10-го за мной заехал полковник Б. на автомобиле и отвез меня в штаб Глазенапа. Он представил меня генералу Краснову. Заочно мы знали друг друга, и встреча эта была для меня приятна. Петр Николаевич осведомил меня, что сейчас придет Глазенап и разговор будет о возможности создать в Гатчине прифронтовую газету. Я ни на минуту не забывал того, что хотя

предо мною сидит очаровательный человек, Петр Николаевич, автор путешествий и романов, которые я очень ценил, но что для меня он сейчас Ваше Высокопревосходительство, генерал от кавалерии. В Северо-Западной Армии в служебных отношениях все тянулись в ниточку. Впоследствии я ближе узнал П. Н. Краснова, и воспоминания о нем у меня самые благодарные, почтительные и дружеские. Но если человек вкусил с десяти лет тягость воинской дисциплины, то потом возврат к ней сладостен.

Вошел быстрой, легкой походкой, чуть позванивая шпорами, генерал Глазенап, он же — генерал-губернатор всех областей, отторгнутых от большевиков.

Я залюбовался им. Он был очень красив: невысокий, стройный брюнет, с распущенными черными усами, с горячими черными глазами, со смуглым румянцем лица, с легкостью хорошего кавалериста и со свободными движениями светского человека. Он был участником Ледяного похода, водителем многих отчаянных конных атак.

Говорить с ним было совсем не трудно, тем более что П. Н. Краснов понимал дело и поддерживал меня. Газета, по его мнению, необходимое.

Вопрос в типографии и бумаге. О деньгах заботиться не надо: на днях выходят из печати новые кредитки Северо-Западного правительства. Руководителем и моим непосредственным начальником будет генерал Краснов. Через сколько времени может выйти первый номер, по моим расчетам?

Я стал делать оговорки: сможет ли генерал Краснов дать сегодня же передовую статью? — Да, часа через два-три. Есть ли в штабе последние красные газеты и можно ли из них делать вырезки? — Есть, можно, но только для первого номера в виде исключения. Обычно прежде всего газеты поступают в штаб, для сводки. Нет ли иностранных газет, хотя бы и не особенно свежих? — Найдутся. Есть ли в штабе бумага? — Есть, но только писчая, почтового формата. Разрешено ли мне будет в случае, если в типографии нет бумаги, реквизировать ее в каком-нибудь магазине? — Можно. Только дайте расписку, а счет присылайте в канцелярию… Все? — спросил генерал.

— Как будто все, В[аше] Пр[евосходительство], — ответил я. — Только…

Вот тут-то я себя мысленно похвалил. Во всех деловых переговорах и контрактах я никогда не

упускал мелочей, но всегда забывал самое главное. А теперь нашел.

— Только должен предупредить, что наборщики — самый гордый и капризный народ на свете. Этих «армии свинцовой суровых командиров» можно взять лишь добром. Деньги теперь — ничто. Но если выдать им хотя бы солдатский паек, то они, наверно, будут польщены таким вниманием.

— Хорошо. Обратитесь к моему заведующему хозяйством. Я предупрежу. А все-таки: когда же мы увидим первый номер?

— Завтра утром, — брякнул я и, признаться, прикусил язык.

Генерал Глазенап весело рассмеялся.

— Это по-суворовски!

Генерал Краснов поглядел на меня сквозь золотое пенсне с чуть заметной улыбкой.

Я поспешил оговориться:

— Конечно, это не будет номер «Таймса» в 32 страницы и выйдет не в пятистах тысячах экземпляров. Но… позвольте попробовать.

Генерал Глазенап сказал:

— Словом, я передаю вас генералу Краснову. Он, без сомнения, понимает в этом деле более меня. Затем: желаю полного успеха. Извините,

меня ждут.

О самом главном, о названии газеты, труднее всего было столковаться. Я не раз присутствовал при крещении периодических изданий и знаю, как тяжело придумать имя. Каждое кажется устаревшим, похожим на какое-нибудь другое имя, мало или чересчур много звучащим, трудновыговариваемым и т. д. Впоследствии, когда войдет в силу привычка, — всякое название становится удобным.

Мы всячески комбинировали «Свет», «Север», «Неву», «Россию», «Свободу», «Луч», «Белый», «Армию», «Будущее». П. Н. Краснов нашел простое заглавие: «Приневский край». Мелькнул у меня в голове дурацкий переворот: «При! Невский край». Но каждое наименование можно перебалаганить. Все равно: на десятом номере обомнется и станет привычным.

Вот здесь, в Париже, мне часто намекают, что я, может быть, писатель, но, во всяком случае, не журналист. Я не возражаю. Но ровно в 2 часа дня 19 октября, то есть через 28 часов, я выпустил в свет 307 экземпляров первого номера «Приневского края». Отличная статья П. Н. Краснова о белом движении пришла аккуратно, вовремя. По справедливости, хотя и очень мягко, сделал мне

П. Н. выговор за то, что я не послал ему корректуры (занести было всего два шага). Прекрасную оберточную рыжую бумагу я реквизировал в магазине Офицерского экономического общества. Наборщиков оказалось трое: сын хозяина типографии, длиннорукий, длинноногий лентяй и ворчун, скверный наборщик, но, к счастью, физически сильный человек; второй знал кое-как наборное дело, но страдал грыжей и кашлял; третий же был мастер, хотя и великий копун, медлитель и мрачный человек.

Станок был если не Гуттенбергов, то его внучатый племянник. Он печатал только одну полосу. Чтобы тиснуть продолжение, надо было переворачивать лист на другую сторону. Приводился он в действие колесом, вручную, в чем я принимал самое живое участие.

Я уже успел сдать в печать стихи (правда, не новенькие), статью под передовой, отчет о параде, прекрасную проповедь о. Иоанна и характеристику Ленина (я сделал ее без злобы, строго держась личных впечатлений). Кроме того, я вырезал и снабдил комментариями все интересное, что нашел в красных газетах. Я также продержал обе корректуры. Словом: Фигаро здесь, Фигаро там.

Часам к 11-ти ночи люди устали, но ропота не

было. Я сбегал за пайками и предложил, и, по-моему, вовремя и деликатно. Сказал: «А кстати, вот ваш ежедневный паек». Это их так взбодрило, что они и на мою долю отрезали холодного мяса, свиного сала и белого хлеба. Утром заканчивали работу вдвоем: я и мрачный тип.

Г. г. журналисты, работали ли вы в таких условиях?

Этот станок, этого верблюда мы таскали с собою потом в Ямбург, в Нарву и в Ревель. Разбирали и собирали. Главный его недостаток был в медлительности работы. Вертеть колесо, да еще дважды, — занятие нелегкое.

1-й номер расхватали в час. Цена ему была полтинник на керенки. Почему мы не брали по пятьсот рублей? — не понимаю. Впрочем, разницы между этими суммами не было никакой. И мы сами не знали, куда девать вырученные деньги. Наняли было корректоршу (она же и кассирша), но через час пришлось ее уволить: никуда не годилась.

XIII. Красные уши

Нелегка была вначале газетная работа при оборудовании дела самыми примитивными способами и средствами. Но мне она доставляла удовлетворение и гордость. Тем более что вскоре дело наладилось и пошло ровно, без перебоев.

Все тот же внимательный, памятливый и точный комендант Лавров по моей просьбе распорядился, чтобы при разборке пленных красноармейцев спрашивали: нет ли среди них мастеров печатного дела. На третий же день мне прислали двух. Один рядовой наборщик, весьма полезный для газеты, другой же оказался прямо драгоценным приобретением: он раньше служил в синодальной типографии, где, как известно, требуется самая строгая, интегральная точность в работе, а кроме того, у него оказались глазомер и находчивость настоящего метранпажа. Вблизи Гатчины мы откопали бумажную фабрику, заглохшую при большевиках, но с достаточным запасом печатной бумаги.

П. Н. Краснов давал ежедневно краткие, яркие и емкие статьи, подписывая их своим обычным

псевдонимом Гр. Ад (град было имя его любимой скаковой лошади, на которой он взял в свое время много призов в Красном Селе и на Concours Hippiques в Михайловском манеже). Он писал о собирании Руси, о Смутном времени, о приказах Петра Великого, о политической жизни Европы. Оба штаба (ген. Глазенап и графа Палена), жившие друг с другом несколько не в ладах, охотно посылали нам, какие было возможно, сведения и распоряжения. Напечатали два воззвания обоих генералов и главнокомандующего ген. Юденича. Наняли двух вертельщиков. Работали круглые сутки в две смены. Довели тираж до тысячи, но и того не хватало.

Красные газеты получались аккуратно и в изобилии от пленных и через разведчиков, ходивших ежедневно в Петербург, в самое чертово пекло, разнюхивать события. С чувством некоего умиления читал я в них лестные строки, посвященные мне. Из одной заметки я узнал, что штаб Юденича помещается в моем доме, а я неизменно присутствую на всех военных советах в качестве лица, хорошо знающего местные условия. Василий Князев почтил меня стихами:

Угостил его Юденич коньяком,

И Куприн стал нам грозиться кулаком.

Что-то в этом роде…

Пролетарский поэт Демьян Бедный отвел мне в московской «Правде» целый нижний этаж, уверяя, что я ему показался подозрительным еще в начале 19-го года, когда я вел в Кремле переговоры с Лениным, Каменевым, Милютиным и Сосновским об издании беспартийной газеты для народа. Это правда: о такой газете я и хлопотал, но не один: за мной стояла большая группа писателей и ученых, не соблазненных большевизмом. Имелись и деньги. Затея не удалась. Мне предложили заднюю страницу «Красного пахаря». Но красный — какой же это пахарь? И зачем пахарю красный цвет?

Я уехал в Петербург ни с чем.

Но Демьян слушавший, неприглашенным, наши переговоры, уже тогда решил в уме, что я обхожу советскую власть «змеиным холодом».

Это все, разумеется, вздор… Печально было то, что, внимательно вчитываясь в красные петербургские газеты, можно было уловить в них уши и глаза, находящиеся в Гатчине.

Из крупных гатчинских коммунистов никто не попался белым (кстати, дважды они упустили

из рук Троцкого в Онтоло и в Высоцком, находя каждый раз вместо него лишь пустое, еще теплое логовище). Ушел страшный Шатов, однажды приказавший расстрелять женщину, заложницу за мужа-авиатора, вместе с грудным ребенком, которого у нее никак нельзя отнять.

Улизнул Серов, председатель Гатчинской Чека, кумир гимназисток-большевичек, бывший фейерверкер царской армии: на Псковском фронте он вызвал из строя всех прежних кадровых офицеров, числом около 50-ти, велел их расстрелять и для верности сам приканчивал их из револьвера. Перед казнью он сказал им: «...Ни одному перекрасившемуся офицеру мы не верим. Свое дело вы сделали, натаскали красных солдат, теперь вы для нас — лишняя обуза».

Ушел неистовый чекист Оссинский. В его квартире нашли подвал, забрызганный до потолка кровью, смердящий трупной вонью. Исчез палач специалист Шмаров, бывший каторжник, — убийца, который даже всегда ходил в арестантском сером халате, с круглой серой арестантской бескозыркой на голове. Он как-то на Люцевской улице,[7] пьяный, подстрелил без

[7] Примечания: 7
Люцевская — ул. Чкалова с 1949 г.

всякого повода и разговора, сзади, незнакомого ему прохожего, ранил его в ногу, вдруг освирепел, потащил его в ЧК (тут же напротив) и дострелил его окончательно.

Поймали белые только одного Чумаченку, захватив его в Красном. Этот безобидный человек-пуговица заведовал пищевыми запасами и называл себя «Король продовольствия». Никому он зла не делал, наивно упивался высотою своего положения и был забавен со своим всегда вздернутым носом-пуговичкой. На него сделали донос.

Словом, ушли тузы и фигуры. Осталась дребедень. Но, прячась за нее, какие-то неуловимые многознающие и пронырливые люди сообщались с красным командованием, посылая ему в Петербург сводки своих наблюдений. Разыскивать их было некогда и некому. И — вероятнее всего — это они намеревались устроить в Гатчине провокационный погром.

Как-то вечером зашел я к моему приятелю-еврею. У него застал смятение и скорбь. Мужчины только что вернулись из синагоги. У дедушки Моти, старейшего из евреев, во время молитвы впервые затряслась голова и так потом не переставала трястись. Добрая, толстая хозяйка

просила меня взять к себе на время ее пятилетнюю девочку Розочку, а та прижималась к ней и плакала. Все они были смертельно напуганы уличными сплетнями и подметными анонимными письмами.

В тот же вечер, руководясь темным инстинктом, я передал эту сцену полковнику Видягину. Его сумрачные глаза вдруг вспыхнули.

— Я не допущу погромов, с какой бы стороны они ни грозили, воскликнул он. — Жидов я, говорю прямо, не люблю. Но там, где Северо-Западная Армия, там немыслимо ни одно насилие над мирными гражданами. Мы без счета льем свою кровь и кровь большевицкую, на нас не должно быть ни одного пятна обывательской крови. Садитесь и сейчас же пишите внушение жителям.

Через полчаса я подал ему составленное воззвание. Говорил в нем о том, что еще со времен Екатерины II и Павла I живут в Гатчине несколько еврейских фамилий, давно знакомых всему городу, честных тружеников, небогатых мастеров, людей совершенно чуждых большевистским идеям и нравам. Говорил о Едином Боге, о том, что не время в эти великие дни сеять ненависть. Упомянул в конце о строгой ответственности и суровой каре, которая постигнет насильников и

подстрекателей.

К ночи воззвание было подписано графом Паленом и скреплено начальником штаба. На другой день оно было расклеено по заборам.

Пишу об этом так подробно, потому что мне лишний раз хочется подтвердить о полном доброты, нелицеприятном, справедливом отношении С.-З. Армии ко всем мирным гражданам, без различия племен и вероисповеданий. Об этом подтвердят все участники похода и все жители тех мест, где эта армия проходила.

А вот в ревельской газете «Свободная Россия» Кирдецов, Дюшен и Башкирцев позволили себе оклеветать эту истинно рыцарскую армию как разбойничью и грабительскую, говоря не о тыле, а о доблестных офицерах и солдатах похода-легенды.

XIV. Немножко истории

Северо-Западная Армия не была одинока в борьбе с большевиками. По условиям своего созидания и формирования Северный корпус с первых своих дней оказался тесно связанным с Эстонской республикой и с ее молодой армией. Боевое крещение получили части Русского Корпуса, защищая Эстонию от вторжения большевистских войск. До мая 1919 г. все операции Северной армии происходили на эстонской территории. Отсюда причины союзных отношений между обеими армиями. В период существования Северного Русского Корпуса эти отношения были оформлены заключенным договором. Однако в момент превращения Русского Корпуса в армию положение сторон изменилось. Эстония была освобождена от большевиков, и Русская Армия сражалась на русской территории.

По этим соображениям Русская Армия вышла из подчинения эстонскому главнокомандованию и в лице генерала Юденича получила собственного руководителя, назначенного Верховным правителем России. Были раньше планы

о возглавлении армии генералом Гурко или Драгомировым. Но имя победителя Эрзерума более импонировало.

Не имея собственных портов, ограниченная размером территории, С.-З. белая Россия принуждена была, а с нею и С.-З. Армия, базироваться на Ревель и на Эстонию. Между тем Эстония уже была свободна от большевиков, имела свыше чем 80-тысячную армию и в существенной помощи Белой Армии уже не нуждалась. Прежний взаимный договор отпадал. Требовалось новое договорное соглашение, и почва для него нашлась, но очень волнующая. С одной стороны, сформированное в августе 1919 года С.-З. правительство поспешило признать полную и вечную независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми Великими державами, Верховным правителем России и всеми областными ее правительствами. За это Эстония согласилась оказывать помощь белой России в ее борьбе с большевиками и обещала помочь генералу Юденичу при походе на Петербург. (Однако, когда наступление на Петербург началось, то эстонские войска в нем участия почему-то не приняли…)

Предполагался подобный же взаимный договор

с Финляндией, и она также искала к нему путей. Он не состоялся. Вопрос об его осуществлении зависел главным образом от бывших русских дипломатов, эмигрировавших в Париж. Они отказали. Почему? Энергичный напор на красных со стороны Финляндии решил бы судьбу Петербурга в два-три дня.

Высший совет командования Белой Армии сознавал, что общее состояние тыла и политической обстановки еще не вполне отвечает требованиям немедленного наступления.

Но строевые начальники, видевшие настроение своих солдат, твердо знали и чувствовали, что этот бодрый воинственный дух необходимо поддержать именно переходом от метода обороны, изнурявшей боевые части и понижавшей их боеспособность, к решительному и быстрому наступлению.

Дух и воля армии одержали верх. Главное командование решилось наконец на открытие военных действий. Впрочем, за необходимость наступления говорили громко еще следующие доводы.

1) Эстония под влиянием своих социалистических партий уже намеревалась вступить в мирные переговоры с Советской Россией.

Заключение такого мира лишало бы С.-З. Армию и военной поддержки Эстонии, и пользования для военных целей портами и железными дорогами Эстонии.

2) Успехи Деникина при его движении на Москву привлекли в тот момент внимание всего красного главнокомандования. Чтобы отразить его победоносное наступление, напрягались все советские силы. Угроза Петербургу в эти дни значительно облегчила бы задачу Деникина.

3) Необходимость взятия Петербурга до наступления холодов. Главная цель взятия Петербурга — освобождение от террора, от холода и голода несчастного населения столицы. Ввоз необходимого продовольствия и предметов первой необходимости возможен лишь до прекращения навигации, которая с конца ноября уже связывается замерзающим Петербургским портом.

4) Обещанная поддержка военного английского флота, действия которого находились в зависимости от наступления морозов.

5) Великолепный дух белых солдат, оторванных, однако, от родины и семьи, не мог бы выдержать своего напряжения до весны и в течение зимы сменился бы унынием и всеми его последствиями.

6) Командование Красной Армии прозевало возрождение духа и силы С.-З. Армии. Оно продолжало ее считать не вполне боеспособной и не боялось ее. Поэтому многие красные части были переведены на другие фронты, и соотношение сил на С.-З. фронте было в данный момент очень благоприятным для наступления Белой Армии.

Наступление было решено.

Я пламенный бард С.-З. Армии. Я никогда не устану удивляться ее героизму и воспевать его. Но ведь есть на свете и проза. Много способствовало подъему духа в С.-З. Армии появление наконец давно обещанной, так долго жданной помощи от французов и англичан в виде первых транспортов обмундирования, танков, орудий, снарядов, ружей. Солдаты по прибытии первых грузов ожили духом. Они удостоверились собственными глазами, что старые друзья и союзники по войне с Германией решительно хотят помогать белым армиям в их борьбе с большевиками. Сапоги, хлеб, шинель и ружье — это все, что нужно воину, кроме убеждения, что война имеет смысл. Голодный, босый, невооруженный солдат — хороший материал лишь для бунта или для дезертирства. Глупость говорила ходячая поговорка удалых прежних военачальников: «Я своим солдатам три

дня есть не дам, так они врага с кожей и костями слопают, так что они без вести пропадут и назад не вернутся».

Активные операции С.-З. Армии против Петербурга могли развиваться в двух направлениях. Большинство старых генералов, недавно прибывших на фронт гражданской войны и не знавших ее условий, настаивали на том, что необходимо обеспечить себя взятием Пскова и лишь после этого открыть движение на Петербург.

Но командный состав из числа тех, кто с первых дней существования С.-З. корпуса находились в нем и знали его боевые качества, решительно настаивал на ином плане. В гражданской войне, говорили они, гораздо вернее проявлять быстроту и натиск. Все здесь зависит от психологического момента. Если нам стремительно удастся уловить его, то красный Петербург не спасут ни наши обнаженные фланги, ни обходное движение советских полков! Эта упругая стремительность должна вызвать растерянность среди командного состава Красной Армии, пробудить уснувшие надежды в антибольшевиках в Советской Армии и в Петербурге, создать благоприятные условия для восстания рабочих масс и т. д.

Этот план восторжествовал. Страшная стре-

мительность, с которой С.-З. Армия ринулась на Петербург, действительно вряд ли имела примеры в мировой истории, исключая разве легендарные суворовские марши.

XV. Партизанский дух

Передо мною лежит брошюра: «Октябрьское наступление на Петербург и причины неудачи похода. Записки белого офицера». Это единственный печатный материал, посвященный походу. Автор не назван. (Говорят, сохранились кое-где полковые и дивизионные архивы. Но ими воспользуется со временем усидчивый историк.)

Книжка ценная, составлена ясно, толково, со знанием дела, с любовью к родине, с горячей скорбью о трагической судьбе геройской Северо-Западной Армии. Я вынужден ею пользоваться для того, чтобы не заблудиться в чрезвычайно сложных и путаных деталях наступления. Надо сказать, что она не только подтверждает все мною слышанное и лично наблюденное, но и проливает на события верный свет. Лишь в оценке неудач армии у меня несколько иной взгляд, чем у талантливого автора, очевидно, доблестного кадрового офицера прежней великой российской армии. Но книгу его я усердно рекомендую любителям.

Говорили многие потом, разбирая критически

операции С.-З. Армии, что в ней было слишком много партизанского духа. Но какой же иной могла быть армия добровольцев, всего в 20-тысячном составе, в дни братоубийственной гражданской войны, в сверхчеловеческой обстановке непрестанных на все стороны боев, дневных и предпочтительно ночных, с необеспеченным флангом, с единственной задачей быстроты и дерзости, со стремительным движением вперед, во время которого люди не успевали есть и выспаться? Так почему же эта армия не разлагалась, не бежала, не грабила, не дезертировала? Почему сами большевики писали в красных газетах, что она дерется отчаянно? Отчего Талабский полк, более всех других истекавший кровью, так доблестно прикрывал и общее отступление, а в дни Врангеля, год спустя, пробрался поодиночке из разных мест в Польшу к своему вождю и основателю, генералу Пермикину, чтобы снова стать под его водительство? Да только потому, что каждый стрелок в ней, каждый конник, каждый наводчик, каждый автомобилист шел освобождать сознательно родину. Совсем забыты были у них разность интересов и отдаленность губерний Псковской и Тамбовской. Оттого-то их с теплой душой встречало и с терпкой печально

провожало крестьянство, которое безупречно служило им в качестве возчиков, проводников и добрых хозяев. Оттого-то белый солдат и мог свободно проявлять самое важное во всякой и самое драгоценное в гражданской войне качество — личную инициативу.

Еще говорили об отсутствии единой главноначальствующей воли и указывали на это как на причину отсутствия ответственности у должностных лиц, которые не хотели отбросить самостоятельных партизанских приемов и руководствовались лишь личными соображениями.

Формальный глава армии существовал. Это был генерал Юденич, доблестный, храбрый солдат, честный человек и хороший военачальник. Но из всех русских известных современных полководцев, которые сумели бы мощно овладеть душами, сердцами и волею этой совсем необыкновенной армии, я могу представить себе только генерала Лечицкого. Генерал Юденич только раз показался на театре военных действий, а именно тотчас же по взятии Гатчины. Побывал в ней, навестил Царское Село, Красное и в тот же день отбыл в Ревель. Конечно, очень ценно было бы, в интересах армии, если бы ген. Юденич, находясь в тылу, умел дипломатично воздействовать на

англичан и эстонцев, добиваясь от них обещанной реальной помощи.

Но по натуре храбрый покоритель Эрзерума был в душе — капитан Тушин, так славно изображенный Толстым. Он не умел с ними разговаривать, стеснялся перед апломбом англичан и перед общей тайной политикой иностранцев. Надо сказать правду: он раз проявил несомненно большое достоинство. Это было в тот день, когда английский генерал Марч (или Гоф?), велев в срок сорока минут составиться северо-западному правительству, хотел начать договорный акт параграфом: «Войдя в Петербург и свергнув большевицкую власть, эстонцы, при помощи северо-западного правительства и его армии, устраивают Россию на демократических началах».

Этой глупости не выдержало закаленное сердце старого воина. Он протестовал так решительно, что бритый англичанин с огромным подбородком должен был сдаться.

Единый вождь в этой особенной войне должен был бы непременно показываться как можно чаще перед этим солдатом. Солдат здесь проявлял сверхъестественную храбрость, неописуемое мужество, величайшее терпение, но безмолвно

требовал от генерала и офицера высокого примера. В офицерском составе уживались лишь люди чрезмерно высоких боевых качеств. В этой армии нельзя было услышать про офицера таких определений, как храбрый, смелый, отважный, геройский и т. д. Было два определения: «хороший офицер» или изредка: «да, если в руках». Там генералы Родзянко и Пален, оба высоченные гиганты, в светлых шинелях офицерского сукна, с оружием, которое в их руках казалось игрушечным, ходили в атаку, впереди цепей, посылая большевикам оглушительные угрозы. Там Пермикин ездил впереди танка, показывая ему путь, под огнем из бронепоездов, под перекрестной пальбою красных цепей, сидя на светлой серой лошади.

Что же касается того, что военачальники руководились лишь личными соображениями, выходя из общего плана, то вряд ли это верно.

По объявлении похода армия пошла в наступление 7 колоннами, каждая в ином направлении. Неминуемо случалось то, что колонны теряли связь в болотистых и лесных местностях, тем более что красные, отступая, не только перерезали телеграфные проволоки, но и срубали столбы. Двигались они руководимые каким-то звери-

ным чутьем, птичьим инстинктом, но пришли вовремя и еще при сближении помогали одна другой в атаках энергичной поддержкою. Вот вам и партизанская война.

Был, правда, был один ужасный, прискорбный случай сознательного неповиновения генерала приказу. Я говорю о генерале, офицере генерального штаба Ветренко… О нем после. Но нельзя же на одном несчастном случае строить огульные выводы.

XVI. Лунатики

Состав северо-западников не был постоянным: он имел текучий, меняющийся характер.

Во время весеннего налета на форт Красная Горка значительная часть гарнизона перешла без боя на сторону белых: образовался Красногорский полк. Ушли к белым посланные против них вятичи — вот и Вятский полк.

В тот же период двинуло красное командование в тыловой обход белых Семеновский (бывший лейб-гвардии) полк, — «полк внутренней охраны Петрограда», как его называли официально. Странным, загадочным, непонятным было существование Семеновского полка после революции и особенно отношение к нему большевиков. Этот полк, так круто расправившийся с московским восстанием в 1906 году, жил в прежних казармах, по прежнему укладу, нес караульную службу по охране Государственного банка, Казначейства и других верных пунктов и как бы находился под особым покровительством. Зайдя в тыл белых у Выры, он с музыкой перешел в С.-З. Армию, убив сначала своих комиссаров и красных фельд-

фебелей (один из них застрелился). Полк так и сохранил навсегда свое старинное Петровское имя.

Проходили иногда сквозь состав С.-З. Армии необыкновенные, удивительные части, характера, так сказать, гастрольного. Таков был, например, знаменитый Тульский батальон. О нем до сих пор старые офицеры и солдаты Северного корпуса вспоминают со смехом и с восхищением.

В пору бешеного нажима большевиков на крестьян, когда предавались огню, разрушению и сравнивались с землею (речь Троцкого) целые села и деревни, произошло маленькое чудо. Вооружившись как попало, этот отряд пошел на удалую разыскивать то самое место, где бьют большевиков. Блуждая по лицу земли русской, они, кажется, хотели попасть к Деникину, но попали сначала к Петлюре, потом в Польшу. У Петлюры им «шибко не показалось», поляки их не приняли. Наконец, в Пскове им удалось набрести на настоящих истребителей большевизма. Тут они и остались, поступив в распоряжение Северного корпуса под наименованием Тульского батальона.

Я до сих пор не знаю, никогда не мог добиться:

кто из командования считался главным, непосредственным начальником туляков. Дрались они с несравненной, безумной храбростью. Вышибать неприятеля из деревень, брать молниеносной атакой мосты и другие узкие опасные проходы было точно их любимой специальностью. Побежденным они никогда не давали пощады. В крепких, жестких руках из Тульского батальона мог бы выработаться превосходный боевой материал. И надо сказать, что среди офицеров Сев. корпуса было достаточно людей с железной волей. Однако подчинить туляков хотя бы первым, основным началом воинской дисциплины оказалось немыслимым. Так они успели озвереть в долгом гуртовом бродяжничестве. Таких грабителей, мародеров, плутов и ослушников свет не видывал. Ни наказания, ни уговоры на них нимало не действовали. Пришлось при основательной чистке С.-З. Армии перед походом на Петербург распроститься с удивительным Тульским батальоном, т. е., вернее, с его жалкими остатками, ибо большинство туляков погибло в боях. Жили грешно — умерли с честью.

Формировались полки и добавлялись, можно сказать, на ходу. Иногда по составам батальонов можно было проследить историю полка, как ис-

торию земли по геологическим наслоениям. Вот, например, знаменитый Талабский полк:

1-й батальон: рыбаки с Талабских островов (Великое озеро, близ Чудского). Это основа и первый кадр.

2-й батальон: старообрядцы и жители подгатчинских сел (вторые превосходные проводники).

3-й батальон: вятичи и пленные матросы (матросы были первоклассными бойцами).

Во все три батальона в значительном количестве вошла учащаяся молодежь Ямбурга и других ближних мест. Большинство этих юношей не вернулось домой. Погибли.

Да! Великую, кровавую, святую жертву родине принесли русские юноши и даже мальчики на всех фронтах, во всех боях ужасной гражданской войны.

По этому списку можно догадаться о путях полка.

О Талабском полке и о 2-й дивизии, в которую он входил (Островский 500 штыков; Талабский — 1000; Уральский — 450; Семеновский — 500, и эти числа лишь в начале похода) — о них мне придется упоминать особенно часто. И вовсе не потому, что эти части отличались от других боевыми или легендарными чертами. Нет, все полки

С.-З. Армии были выше похвал, и об их подвигах думаешь невольно теперь как о великой сказке. Я порой недоумеваю: почему это никогда не слышно и в газетах нет ничего о вечерах, собраниях или обществе северо-западников. И мне кажется, что эти люди сделали так много непосильного для человека, преодолели в такой громадной мере инстинкт самосохранения, пережили такое сверхъестественное напряжение физических и нравственных сил, что для них тяжким стало воспоминание.

Так лунатик, перешедший ночью по тонкой гибкой дощечке с пятого этажа одного дома на пятый другого, взглянет днем с этой высоты вниз — и у него побледнеет сердце и закружится голова.

Нет, только волей случайности мне удалось больше всего слышать о 2-й дивизии и чаще всего входить в общение с талабчанами. Кроме того, эти части по капризным велениям военной судьбы принуждены были — в наступлении на Петербург, в боях вокруг Гатчины, Красного и Царского и в отступлении играть, поневоле, ежедневно тяжелую и решительную роль.

Вот вкратце несколько боевых дней 2-й дивизии. Обратите внимание на числа:

9 октября. Конница начинает активные операции. Правофланговый полк дивизии, под энергичным руководством своего командира полковника Пермикина, на рассвете переходит в наступление в районе оз. Тягерского и решительным ударом занимает ряд неприятельских деревень.

10 октября. Талабский полк развивает достигнутый успех, занимает деревню Хилок, переправляется через Лугу, укрепляется в дер. Гостятино. Островцы с боем переправляются через Лугу у Редежи. Семеновцы атакуют красных у Собской переправы.

11-го ночью Талабский полк подходит к станц. Волосово, давая возможность белой кавалерии продолжать свою задачу.

12 октября. Талабский полк подлетает к ст. Волосово и с налета опрокидывает находящиеся здесь красные части.

13-16 октября. Полки Островский и Семеновский. Бои в Кикерине, Елизаветиной, у Шпанькова, стычка на гатчинских позициях. Вечером 16-го Талабский полк под Гатчиной.

17 октября. Без остановки в Гатчине полки 2-й дивизии (теперь под начальством генерала Пермикина) опрокидывают и сминают засев-

шие около города красные отряды и заставы, немедленно идут дальше и занимают позиции Пеггелево — Шаглино.

18 октября. Части дивизии широким фронтом продвигаются к Царскому. Талабский полк к вечеру выбивает из дер. Бугор противника.

19 и 20 октября. Ожесточенные, непрерывные бои около деревни Онтолово. Пермикин отказывается от фронтового движения и предпринимает обходное. Отборные курсанты и личная сотня Троцкого обнаруживают его и встречают пением «Интернационала». Атаки талабцев дважды отбиты. Коммунисты сами пытаются перейти в наступление. Громадную помощь красным оказывают бронепоезда «Ленин», «Троцкий» и «Черномор», свободно маневрировавшие по Варшавской и Балтийской ж.д.; 20-го утром в Гатчину прибыли новые (французские) танки и спешно отправлены в Онтолово. Однако доблестные талабцы взяли-таки упорно обороняющуюся деревню и заставили красных отступить. К вечеру 20-го бригада 2-й дивизии сбила противника и подошла к Царскому.

21 октября. Бой за обладание Царским. 2-й батальон Талабского полка на рассвете исполняет обходную задачу и неожиданным ударом зани-

мает Царскосельский вокзал.

Итого: тринадцать дней беспрерывных боев. Затем следует переброска дивизии на левый фланг для ликвидации прорывов в Кипени и Волосове. Затем арьергардная служба при отступлении. И все — без отдыха. Жутко подумать, на что способен может быть человек!

XVII. Купол Св. Исаакия Далматского

В день вступления Северо-Западной Армии в Гатчину высшее командование дает приказ начальнику III дивизии генералу Ветренко: свернуть немедленно на восток, идти форсированным маршем вдоль ветки, соединяющей Гатчину с Николаевской железной дорогой, и, достигнув ст. Тосно, привести в негодность Николаевскую дорогу, дабы прервать сообщение Москва — Петербург.

Ветренко ослушался прямого приказа. Он продвигается к северу на правом фланге, подпирает слегка наступление Пермикина, затем под прикрытием 2-й армии уклоняется вправо, чтобы занять Павловск. На тревожный телеграфный запрос Штаба он отвечает, что дорога Гатчина — Тосно испорчена дождями и что Павловск им необходимо занять в целях тактических. Совсем непонятно, почему главнокомандующий не приказал расстрелять Ветренко и не бросил на Тосно другую часть: вернее всего предположить, что под руками не было резервов.

Но упустили время. Троцкий с дьявольской энергией швырял из Москвы эшелон за эшелоном отряды красных курсантов, коммунистов, матросов, сильную артиллерию, башкир… Разведка Талабского полка по распоряжению Пермикина быстро пробралась к Тосно. Но уже было поздно. Подступы к станции были сплошь забаррикадированы красными войсками.

Северо-западники склонны объяснять непростительный поступок Ветренко его героическим и честолюбивым стремлением ворваться первым в Петербург. Сомневаюсь. Офицер Генерального Штаба должен был понимать, что его упущение дало красным возможность усилить свою армию вдвое да еще прекрасным боевым материалом. Более, чем множество других печальных обстоятельств, — его преступление было главной причиной неудачи наступления на Петербург.

Товарищеское мнение смягчало его вину, ибо «мертвые сраму не имут», а Ветренко, по слухам, скончался от тифа. А между тем впоследствии оказалось, что Ветренко не только выздоровел, но с женою и малолетним сыном перешел к большевикам. Таким образом, если даже 18 октября он и не замышлял измены и предательства, то во всяком случае его поведение в эту пору явилось

для большевиков громадной услугой, а для него самого козырным тузом.

Утром я сидел по делу у бессонного капитана Лаврова. При мне пришел в комендантскую молодой офицер 1-й роты Талабского полка, посланный в штаб с донесением. Он торопился обратно в полк и забежал всего на секундочку пожать руку старому командиру. Он был высокий, рыжеватый, полный, с круглым, потным, безволосым лицом. Глаза его сияли веселым рыжим — нет, даже золотым — светом, и говорил он с таким радостным возбуждением, что на губах у него вскакивали и лопались пузыри.

— Понимаете, г. капитан, Средняя Рогатка… — говорил он, еще задыхаясь от бега, — это на севере к Пулкову. Стрелок мне кричит: «Смотрите, смотрите, г. поручик: Кумпол, Кумпол!» Я смотрю за его пальцем… а солнце только-только стало восходить… Гляжу, батюшки мои, Господи! — действительно блестит купол Исаакия, он, милый, единственный на свете. Здания не видно, а купол так и светит, так и переливается, так и дрожит в воздухе.

— Не ошиблись ли, поручик? — спросил Лавров.

— О! Мне ошибиться, что вы! Я с третьего класса

Пажеского знаю его, как родного. Он, он, красавец. Купол святого Исаакия Далматского! Господи, как хорошо!

Он перекрестился. Встал с дивана длинный Лавров. Сделал то же и я.

Весть эта обежала всю Гатчину, как электрический ток. Весь день я только и слышал о куполе св. Исаакия. Какое счастье дает надежда. Ее называют крылатой, и правда от нее расширяется сердце, и душа стремится ввысь, в синее, холодное, осеннее небо.

Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, есть, говорить, думать, молиться, работать — все это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без выклянченного, унижающего разрешения, без грубого вздорного запрета. И главное — неприкосновенность дома, жилья… Свобода!

После обеда в корпусном штабе был другой офицер, кажется, Семеновского полка. Он рассказывал, что один из белых разъездов, нащупывающий подступы к Петербургу, так забрался вперед, что совсем невдалеке мог видеть арку Нарвских ворот. Позднее другой разъезд обстрелял какой-то из трамваев, в которых Троцкий перебрасывал пачки курсантов на вокзалы.

Быстротечные, краткие дни упоительных надежд! На правом фланге белые пробирались к Пулкову II, где снова могли бы перехватить Николаевскую дорогу. Слева они заняли последовательно: Таицы, Дудергоф, Лигово и докатывались до Дачного, намереваясь начать поиск к Петергофу. Божество удачи было явно на стороне С.-З. Армии.

Красные солдаты сдавались и переходили сотнями. Калечь отправлялась в тыл для обучения строю. Надежные бойцы вливались в состав белых полков и отлично дрались в их рядах. У полководцев, искушенных боевым опытом, есть непостижимый дар узнавать по первому быстрому взору ценного воина, подобно тому как настоящий знаток лошадей, едва взглянув на коня, узнает безошибочно его возраст, нрав, достоинства и пороки.

Этим даром обладал в особенно высокой степени ген. Пермикин…

Этот необыкновенный человек обладал несомненным и природным военным талантом, который только развился вширь и вглубь от практики трех войн.

Злобности и мстивости не было у белых. Когда приводили пленных, то начальник части

спрашивал: «Кто из вас коммунисты?», нередко двое-трое, не задумываясь, громко и как бы с вызывающей гордостью откликались: «Я!» «Отвести в сторону!» — приказывал начальник. Потом происходил обыск. Случалось, что у некоторых солдат находились коммунистические билеты. Затем коммунистов уводили, и, таким образом, коммунисты в тыл не просачивались.

Многие коммунисты умирали смело. Вот что рассказывал офицер, которому, по наряду, пришлось присутствовать при расстреле двух коммунистов.

— По дороге я остановил конвой и спросил одного из них, красного, волосатого, худого и злющего: «Не хочешь ли помолиться?» Он отрыгнул такую бешеную хулу на Бога, Иисуса Христа и Владычицу Небесную, что мне сделалось противно. А когда я предложил то же самое другому, по одежде матросу, он наклонился к моему уху, насколько ему позволяла веревка, стягивающая сзади его руки, и произнес тихо, с глубоким убеждением:

— Все равно Бог не простит нас.

Об этом «все равно Бог не простит…» стоит подумать побольше. Не сквозит ли в нем пламенная, но поруганная вера?

Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на белые танки с голыми руками, вцеплялись в них и гибли десятками. Красные вожди обманули их уверениями, что танки поддельные: «дерево-де, выкрашенное под цвет стальной брони». Они же внедряли в солдат ужас к белым, которые, по их словам, не только не дают пощады ни одному пленному, а, напротив, прежде чем казнить, подвергают лютым мукам.

Но и красные солдаты, а впоследствии курсанты и матросы, в день плена, присевши вечером к ротному котлу, не слыша ни брани, ни насмешки от недавних врагов, быстро оттаивали и отрясались от всех мерзостей большевистской пропаганды и от привитых рабских чувств.

— Прохожу я вдоль бивуака, — рассказывал мне один офицер, — вдруг чую, пахнет настоящим табаком, не махоркой. Тяну по запаху, как пойнтер. Смотрю, сидит в кругу незнакомый оборванный солдат и угощает соседей папиросами из бумажного пакета. Спрашиваю: «Откуда табак?» Тот вскочил, видно, прежний еще солдат. «Так что еще утром раздавали паек, ваше благородие».

А один стрелок из рыбаков, не вставая (на отдыхе и за едою стрелки не встают), говорит на чисто талабском языке:

— Он только цицась пересодцы. Есцо сумушаетцы. Ницого парень. Оклемаетсцы.

А еще дальше пленный солдат объясняет, что терпеть до слёз нельзя, когда белые поют… Про «Дуню Фомину» услышал, так и потянуло. «Это тебе не „тырционал“…»

Большевики, должно быть, понимают, что песни порою бывают сильнее печатной прокламации. Полковник Ставский отобрал в Елизаветине у пленного комиссара карандашное донесение по начальству.

«Идут густыми колоннами и поют старые песни…»

Пермикин и, конечно, другие военачальники понимали громадное преобладание добра над злом. Пермикин говорил нередко стрелкам:

— Война не страшна ни мне, ни вам. Ужасно то, что братьям довелось убивать братьев. Чем скорее мы ее покончим, тем меньше жертв. Потому забудем усталость. Станем появляться сразу во всех местах. Но жителей не обижать. Пленному первый кусок.

— Для большевиков всякий солдат, свой и чужой, — ходячее пушечное мясо. Для нас он прежде всего человек, брат и русский.

XVIII. Отступление

Нет ничего мудрее, вернее и страшнее русской поговорки: «пришла беда отворяй ворота».

Божество удачи отвернулось от самоотверженной горсточки железных людей, составлявших Северо-Западную Армию. Теперь уже не ошибкам полководцев и, подавно, не качеству армии, а лишь стихийному нагромождению ужасных событий можно было приписывать трагическую судьбу.

Наступили холодные дождливые дни и мокрые ночи, черные, как чернила, без единой звезды. По ночам было видно, как за непроницаемою тьмою далей полыхали зарева пожаров и бродили по небу, склоняясь к земле, дымные, голубоватые лучи прожекторов. И там же воображение рисовало невидимых бессонных героев и страстотерпцев, совершающих, ради счастия родины, несказуемо великий подвиг.

Тревожные слухи дошли об неудержимом откате армии Деникина. Они оказались роковой правдой.

Англичане, обещавшие подкрепить движение

белых на Петербург своим военным флотом, безмолвствуют, и лишь под занавес, когда большевики, в безмерно превосходных силах, теснят, окружают Белую Армию и она уже думает об отступлении, лишь тогда перед Красной Горкой появляется английский монитор и выпускает несколько снарядов с такой далекой дистанции, что они никому и ничему вреда не приносят.

Англичане обещали оружие, снаряды, обмундирование и продовольствие. Лучше бы они ничего не обещали!

Ружья, присланные ими, выдержали не более трех выстрелов, после четвертого патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его возможно бывало только в мастерской.

Их танки были первейшего типа («Времен войн Филиппа Македонского», горько острили в армии), постоянно чинились и, пройдя четверть версты, возвращались, хромая, в город. Французские «Бебе» были очень хороши, но командовали ими англичане, которые уверяли, что дело танков лишь производить издали потрясающее моральное впечатление, а не участвовать в бое. В своей армии они этого не посмели бы сказать. Они развращали бездействием и русских офицеров, прикомандированных к танкам. Один Перми-

кин умел заставлять эти танки продвигаться в гущу боя. Однажды, когда англичане, сидевшие в «Бебе», отказались идти вперед, Пермикин слез с коня и постучался в дверцу. Вышел высокий белокурый офицер в английском военном платье. Пермикин поглядел на него внимательно и спросил:

— Кто вы?

Тот отвечал по-английски:

— Офицер британской армии. Пермикин гневно повысил голос.

— Я спрашиваю: какой нации?

— Русский, ваше пр-ство.

— Так передайте англичанам, что если ровно через три минуты танк не двинется вперед, то я вас всех расстреляю.

Танк двинулся.

Англичане присылали аэропланы, но к ним прикладывали неподходящие пропеллеры; пулеметы — и к ним несоответствующие ленты; орудия — и к ним неразрывающиеся шрапнели и гранаты. Однажды они прислали 36 грузовых пароходных мест. Оказалось — фехтовальные принадлежности: рапиры, нагрудники, маски, перчатки. Спрашиваемые впоследствии англичане с бледными улыбками говорили, что во

всем виноваты рабочие социалисты, которые-де не позволяют грузить материалы для борьбы, угрожающей братьям-большевикам.

Англичане обещали американское продовольствие для армии и для петербургского населения, обещали добавочный комплект американского обмундирования и белья на случай увеличения армии новыми бойцами, переходящими от большевиков. И действительно, эти обещания они сдержали. Ревельские склады, интендантские магазины, портовые амбары ломились от американского хлеба, сала, свинины, белья и одежды; все эти запасы служили предметом бешеной тыловой спекуляции и растрат. В Белую Армию разновременно влилось около 20 000 красных солдат и жителей-добровольцев, но все были разуты, раздеты и безоружны. К тому же их вскоре нечем стало кормить. А английский представитель в Ревеле Мерч (или Гоф?) уже сносился по телефону с петербургскими большевиками.

Несмотря на то что железнодорожный мост через Нарву, разрушенный большевиками, был восстановлен в середине наступления, продовольствие просачивалось тоненькой струйкой, по капельке. Не только жителям пригородов невозможно было дать обещанного хлеба — кад-

ровый состав армии недоедал. На требование провианта из тыла отвечали: продовольствие предназначено для жителей Петербурга после его очищения от большевиков, и мы не смеем его трогать; изыскивайте местные средства. Удивительная рекомендация: снимать одежду с голого.

Лучше бы англичане совсем не обещали, чем дать обещание и не исполнить его. Голодного не насытит хлеб из папье-маше; жаждущего не напоить морской водой.

С.-З. правительство было бессильно. Из него вскоре после его основания вышли покойный ныне В. Д. Кузьмин-Караваев, А. В. Карташев и М. Н. Суворов, возмущенные обращением англичан Мерча и Гофа с русскими людьми и русскими интересами. В 1920 году они втроем выпустили брошюру о С.-З. правительстве, которую, несмотря на ее деловую сухость, ни один русский не может читать без волнения и гнева. Но авторы ее не могли сказать всего, до конца. В послесловии они упоминают, что многих вещей им в теперешние дни нельзя писать, но что они непременно вернутся к ним при других обстоятельствах. Так и не вернулись.

После этого ухода состав С.-З. правительства оказался ничтожным. Но остался в нем до конца

событий один человек, принимавший горячо и близко к сердцу тяжелую судьбу армии, а также боли, нужды и лишения беженцев. Это С. Г. Лианозов. Спокойствие его, выдержанность и независимость умели пробивать эгоистическое равнодушие англичан, и за все, что он сделал тогда для русских, — глубокая ему признательность.

С.-З. Армия изнуряется и тает в бесчисленных боях. Все резервы пущены в дело. Инициатива переходит в руки красных. Дивизия генерала Дзерюжинского — последний ресурс — подкрепляет правый фланг фронта, но большевики делают на левом прорыв наших войск у Кипени. Ликвидация прорыва поручается генералу Пермикину.

Он с Талабским и Семеновским полками спешно перебрасывается с правого на левый фланг. Он присоединяет к себе в ударную группу еще два полка и два французских танка «Бебе», только что привезенных из Финляндии. Перед вечером (27-го) занимает Первелево, вечером того же дня комбинированным обходом занимает Кипень и шлет в Витино вслед обходной колонны большевиков Конноегерский полк. Затем бои в Красково, Сокули, Волковицы. Приходит на помощь Родзянко с танковым десантным батальоном и со

своей личною сотней. Удивительный был воин Родзянко. Он как будто бы после момента, когда Юденич перенял у него главнокомандование, нигде не состоял и никому не подчинялся. Но едва стоило какой-нибудь части, исполнявшей почти несбыточное назначение, очутиться в тяжелом положении, он каким-то чудом являлся на помощь со своей сотней и с прихваченными по пути вспомогательными средствами. Правда, был он по натуре великолепный всадник.

Далее идут Малково, шоссе Кипень — Гатчина, Ропша, куда Пермикин врывается на плечах большевиков и захватывает грузовик, орудия и 400 пленных. Затем Высоцкое и Высокая. Генерал Пермикин надеется занять к утру Красное. Но вдруг несчастные события на правом фланге заставляют штаб дать Пермикину распоряжение прекратить всякие операции против Красного Села и принять участие в общем отступлении.

Пермикин телеграфировал главнокомандованию: «Передо мной свободная дорога на Петербург. Войду без препятствий». Второй приказ из штаба, и разъяренный лев подчиняется.

Талабский полк покидает Гатчину после всех. Он обеспечивает мелкими, но частыми арьергардными атаками отступление армии

и великого множества беженцев из питерских пригородов. Наступает зима. У Нарвы русские полки не пропускаются за проволочное ограждение эстонцами. Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и бараки, заваленные русскими воинами, умирающими от тифов. В бараках солдаты служили офицерам и офицеры солдатам. Но это уже не моя тема.

Я только склоняю почтительно голову перед героями всех добровольческих армий и отрядов, полагавших бескорыстно и самоотверженно душу свою за други своя.

1928 г.